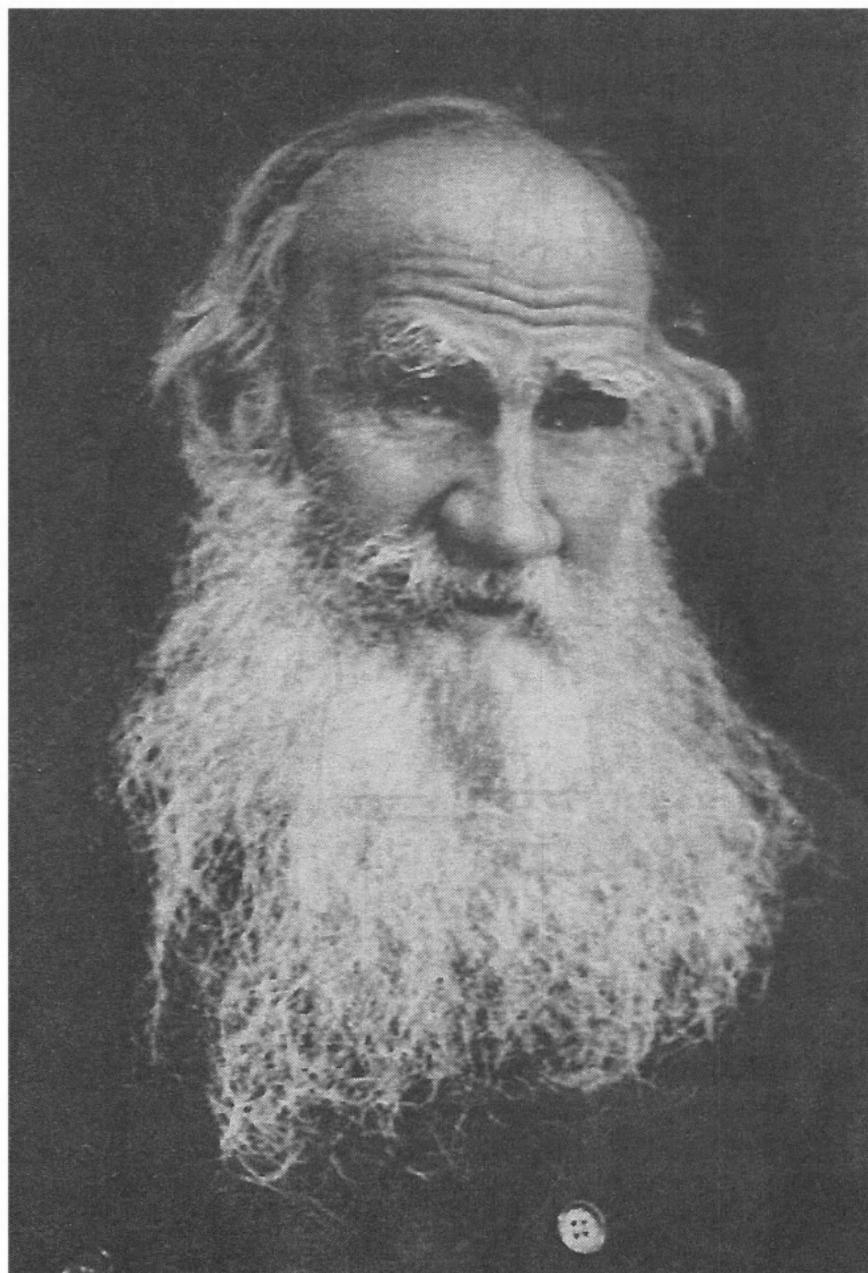
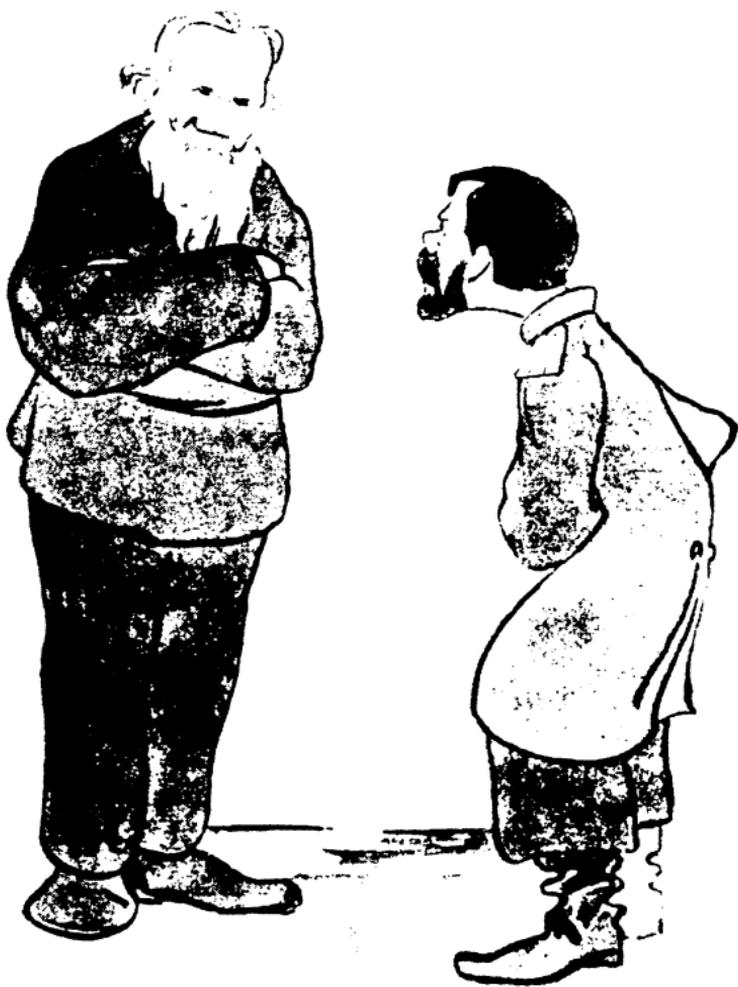




**ЛЕВ ТОЛСТОЙ
И
РУССКИЕ ЦАРИ**





ТОЛСТОЙ И НИКОЛАЙ II
Карикатура художника В. Карика (тушь).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУССКИЕ ЦАРИ

Письма царям

Публицистика

Повесть

Рассказ

Сказки

Москва

ТОО Культурно-просветительская фирма

”КСТАТИ”

1995

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати

Составитель *Н. ПОПОВА*
Редактор и автор примечаний *И. ПОПОВ*

Оформление *А. Романова*

Книга издана при участии ТОО "Внешсигма"

ISBN 5-88113-003-0

© "КСТАТИ", 1995.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

”Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой колеблет трон Николая и его династии..,” — писал известный издатель того времени А.С.Суворин.

В истории России не было другого человека, который столь мужественно и прямо, с таким достоинством и так п о п р а в у обращался к государям своей страны, кто мог в лицо самодержцу заявить: ”Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более просвещается общим всему миру просвещением... Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им”.

Публикуемые в этой книге письма-обращения Толстого к царям, его публицистические выступления и художественные произведения рождены болью и тревогой писателя за судьбу страны, стремлением воздействовать на правителей России, преградить дорогу злу и защитить всех притесняемых.

Вдохновленные мучительным поиском нравственного идеала и путей общественного переустройства России, эти произведения русского гения глубоко созвучны нашим сегодняшним духовным поискам и тревогам и способны взволновать самого широкого читателя.

Politiska karrikatyror för dagen.



Tolstoj och tsaren.

ТОЛСТОЙ И ЦАРЬ.

Карикатура неизвестного художника.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ II

1862 г. Августа 22. Москва.

Ваше Величество!

6-го июля жандармский штаб-офицер в сопровождении земских властей приехал во время моего отсутствия в мое имение. В доме моем жили во время вакации мои гости, студенты, сельские учителя мирового участка, которым я управлял, моя тетка и сестра моя. Жандармский офицер объявил учителям, что они арестованы, потребовал их вещи и бумаги. Обыск продолжался два дня; обысканы были: школа, подвалы и кладовые. Ничего подозрительного, по словам жандармского офицера, не было найдено.

Кроме оскорбления, нанесенного моим гостям, найдено было нужным нанести то же оскорбление мне, моей тетке и моей сестре. Жандармский офицер пошел обыскивать мой кабинет, в то время спальню моей сестры. На вопрос о том, на каком основании он поступает таким образом, жандармский офицер объявил словес-

но, что он действует по высочайшему повелению. Присутствие сопровождавших жандармских солдат и чиновников подтверждали его слова. Чиновники явились в спальню сестры, не оставили ни одной переписки, ни одного дневника непрочитанным и, уезжая, объявили моим гостям и семейству, что они свободны и что ничего подозрительного не было найдено. Следовательно, они были и наши судьи и от них зависело обвинить нас подозрительными и несвободными. Жандармский офицер прибавил, однако, что отъезд его еще не должен окончательно успокоивать нас, он сказал: каждый день мы можем опять приехать.

Я считаю недостойным уверять Ваше Величество в незаслуженности нанесенного мне оскорбления. Все мое прошедшее, мои связи, моя открытая для всех деятельность по службе и народному образованию и, наконец, журнал, в котором выражены все мои задушевные убеждения, могли бы без употребления мер, разрушающих счастье и спокойствие людей, доказать каждому интересующемуся мною, что я не мог быть заговорщиком, составителем прокламаций, убийцей или поджигателем. Кроме оскорбления, подозрения в преступлении, кроме посрамления во мнении общества и того чувства вечной угрозы, под которой я принужден жить и действовать, посещение это совсем уронило меня во мнении народа, которым я дорожил, ко

того заслуживал годами и которое мне было необходимо по избранной мною деятельности — основанию народных школ.

По свойственному человеку чувству, я ищу, кого бы обвинить во всем случившемся со мною. Себя я не могу обвинять: я чувствую себя более правым, чем когда бы то ни было; ложного доносчика я не знаю; чиновников, судивших и оскорблявших меня, я тоже не могу обвинять: они повторяли несколько раз, что это делается не по их воли, а по высочайшему повелению.

Для того чтобы быть всегда столь же правым в отношении моего правительства и особы Вашего Величества, я не могу и не хочу этому верить. Я думаю, что не может быть волею Вашего Величества, чтобы безвинные были наказываемы и чтобы правые постоянно жили под страхом оскорбления и наказания.

Для того, чтобы знать, кого упрекать во всем случившемся со мною, я решаюсь обратиться прямо к Вашему Величеству. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени.

Вашего Величества верноподданный

Граф Лев Толстой

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ III

(черновое)

1881 г. Марта 8—15. Ясная Поляна.

Ваше Императорское Величество!

Я, ничтожный, непризванный и слабый, плохой человек, пишу письмо Русскому Императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали. Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Я думаю себе: если ты напишешь, письмо твое будет не нужно, его не прочтут, или прочтут и найдут, что оно вредно, и накажут тебя за это. Вот все, что может быть. И в этом для тебя не будет ничего такого, в чем бы ты раскаивался. Но если ты не напишешь и потом узнаешь, что никто не сказал царю то, что ты хотел сказать, и что царь потом, когда уже ничего нельзя будет переменить, подумает и скажет: если бы тогда кто-нибудь сказал мне это! Если это случится так, ты вечно будешь

раскаиваться, что не написал того, что думал. И потому я пишу Вашему Величеству то, что я думаю.

Я пишу из деревенской глуши, ничего верно не знаю. То, что знаю, знаю по газетам и слухам, и потому, может быть, пишу ненужные пустяки о том, чего вовсе нет, тогда, ради Бога, простите мою самонадеянность и верьте, что я пишу не потому, что я высоко о себе думаю, а потому только, что, уже столь много виноватый перед всеми, боюсь быть еще виноватым, не сделав того, что мог и должен был сделать.

(Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма Государям — с цветами подбострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто, как человек к человеку. Настоящие чувства моего уважения к Вам, как к человеку и к царю, виднее будут без этих украшений.)

Отца Вашего, царя русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества. Вы стали на его место, и перед Вами те враги, которые отравляли жизнь Вашего отца и погубили его. Они враги Ваши потому, что Вы занимаете место Вашего отца, и для того мнимого общего

блага, которого они ищут, они должны желать убить и Вас.

К этим людям в душе Вашей должно быть чувство мести, как к убийцам отца, и чувство ужаса перед той обязанностью, которую Вы должны были взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушения зла. "Враги отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов, и убийцы отца. Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, как не раздавить их, как мерзких гадов. Этого требует не мое личное чувство, даже не возмездие за смерть отца, этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия".

В этом-то искушении и состоит весь ужас Вашего положения. Кто бы мы ни были, цари или пастухи, мы люди, просвещенные учением Христа.

Я не говорю о Ваших обязанностях царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними.

Бог не спросит Вас об исполнении обязанности царя, не спросит об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение Ваше ужасно, но

только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нас в тех страшных минутах искушения, которые выпадают на долю людей. На Вашу долю выпало ужаснейшее из искушений. Но как ни ужасно оно, учение Христа разрушает его, и все сети искушения, обставленные вокруг Вас, как прах разлетятся перед человеком, исполняющим волю Бога. Мф. 5, 43. "Вы слышали, что сказано: люби ближнего и возненавидь врага твоего; а Я говорю вам: любите врагов ваших... благотворите ненавидящим вас — да будете сынами Отца вашего небесного". 38. Вам сказано: "око за око, зуб за зуб, а Я говорю: не противься злу." Мф. 18, 22. "Не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз". "Не ненавидь врага, а благотвори ему, не противься злу, не уставай прощать." Это сказано человеку, и всякий человек может исполнить это. И никакие царские, государственные соображения не могут нарушить заповедей этих. 5, 19. "И кто нарушит одну из сих малейших заповедей, малейшим наречется в Царствии Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царствии Небесном. 7, 24. Итак, всякого, кто слушает сии Мои слова и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне: пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились в дом тот, и он не упал, ибо основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится чело-

веку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое”.

Знаю я, как далек тот мир, в котором мы живем, от тех Божеских истин, которые выражены в учении Христа и которые живут в нашем сердце, но истина — истина, и она живет в нашем сердце и отзывается восторгом и желанием приблизиться к ней. Знаю я, что я ничтожный, дрянной человек, в искушениях, в 1000 раз слабейших, чем те, которые обрушились на Вас, отдавался не истине и добру, а искушению и что дерзко и безумно мне, исполненному зла человеку, требовать от Вас той силы духа, которая не имеет примеров, требовать, чтобы Вы, русский царь, под давлением всех окружающих, и любящий сын после убийства отца, простили бы убийц и отдали бы им добро за зло; но не желать этого я не могу, [не могу] не видеть того, что всякий шаг Ваш к прощению есть шаг к добру; всякий шаг к наказанию есть шаг к злу, не видеть этого я не могу. И как для себя в спокойную минуту, когда нет искушения, надеюсь, желаю всеми силами души избрать путь любви и добра, так и за Вас желаю и не могу не надеяться, что Вы будете стремиться к тому, чтобы быть совершенными, как Отец Ваш на небе, и Вы сделаете величайшее дело в мире, поборете искушение, и Вы, царь, дадите миру величайший пример ис-

полнения учения Христа — отдадите добро за зло.

”Отдайте добро за зло, не противьтесь злу, всем простите.”

Это и только это надо делать, это воля Бога. Достанет ли у кого или неостанет сил сделать это, это другой вопрос. Но только этого одного надо желать, к этому одному стремиться, это одно считать хорошим и знать, что все соображения против этого — искушения и соблазны, и что все *соображения против этого*, все ни на чем не основаны, шатки и темны.

Но кроме того, что всякий человек должен и не может ничем другим руководиться в своей жизни, как этими выражениями воли Божией, исполнение этих заповедей Божьих есть вместе с тем и самое для жизни Вашей и Вашего народа разумное действие. Истина и благо всегда истина и благо и на земле, и на небе. Простить ужаснейших преступников против человеческих и божеских законов и воздать им добро за зло — многим это покажется в лучшем смысле идеализмом, безумием, а многим злонамеренностью. Они скажут: ”Не прощать, а вычистить надо гниль, задуть огонь”. Но стоит вызвать тех, которые скажут это, на доказательство их мнения, и безумие и злонамеренность окажутся на их стороне.

Около 20 лет тому назад завелось какое-то гнездо людей, большей частью молодых, нена-

видящих существующий порядок вещей и правительство. Люди эти представляют себе какой-то другой порядок вещей, или даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами, пожарами, грабежами, убийствами, разрушают существующий строй общества. 20 лет борются с этим гнездом и как укусуное [?] гнездо, постоянно зарождающее новых деятелей, до сих пор гнездо это не только не уничтожено, но оно растет, и люди эти дошли до ужаснейших, по жестокости и дерзости, поступков, нарушающих ход государственной жизни. Те, которые хотели бороться с этой язвой внешними, наружными средствами, употребляли два рода средств: одно — прямое отсечение больного, гнилого, строгость наказания; другое — предоставление болезни своего хода, регулирование ее. Это были либеральные меры, которые должны были удовлетворить беспокойные силы и утишить напор враждебных сил. Для людей, смотрящих на дело с материальной стороны, нет других путей — или решительные меры пресечения, или либерального послабления. Какие бы и где ни собрались люди толковать о том, что нужно делать в теперешних обстоятельствах, кто бы они ни были, знакомые в гостиной, члены совета, собрания представителей, если они будут говорить о том, что делать для пресечения зла, они не выйдут из этих двух воззрений на предмет: или пресекать — стро-

гость, казни, ссылки, полиция, стеснения цензуры и т.п., или либеральная потачка — свобода, уверенная мягкость мер взысканий, даже представительство, конституция, собор. Люди могут сказать много еще нового относительно подробностей того и другого образа действий; во многом многие из одного и того же лагеря будут несогласны, будут спорить, но ни те, ни другие не выйдут — одни из того, что они будут отыскивать средства насильственного пресечения зла, другие — из того, что они будут отыскивать средства не стеснения, давания выходу затеявшемуся брожению. Одни будут лечить болезнь решительными средствами против самой болезни, другие будут — лечить не болезнь, но будут стараться поставить организм в самые выгодные, гигиенические условия, надеясь, что болезнь пройдет сама собою. Очень может быть, что те и другие скажут много новых подробностей, но ничего не скажут нового, потому что и та, и другая система уже были употреблены, и ни та, ни другая не только не излечила больного, но не имела никакого влияния. Болезнь шла донныне, постепенно ухудшаясь. И потому я полагаю, что нельзя так сразу называть исполнение воли Бога по отношению к делам политическим мечтанием и безумием. Если даже смотреть на исполнение закона Бога, святыню святынь, как на средство против житейского, мирского зла, и то нельзя смотреть на него презрительно после того, как

очевидно вся житейская мудрость не помогла и не может помочь. Больного лечили и сильными средствами, и переставая давать сильные средства, а давая ход его отправлениям, и ни та, ни другая система не помогли, больной все больше. Представляется еще средство — средство, о котором ничего не знают врачи, средство странное. Отчего же не испытать его? Одно первое преимущество средство это имеет неотъемлемое перед другими средствами, это то, что те употреблялись бесполезно, а это никогда еще не употреблялось.

Пробовали во имя государственной необходимости блага масс стеснять, ссылать, казнить, пробовали во имя той же необходимости блага масс давать свободу — все было то же. Отчего не попробовать во имя Бога исполнять только закон Его, не думая ни о государстве, ни о благе масс. Во имя Бога и исполнения закона Его не может быть зла.

Другое преимущество нового средства — и тоже несомненное — то, что те два средства сами в себе были нехороши: первое состояло в насилии, казнях (как бы справедливы они ни казались, каждый человек знает, что они зло); второе состояло в не вполне правдивом попущении свободы. Правительство одной рукой давало эту свободу, другой — придерживало ее. Приложение обоих средств, как ни казались они полезны для государства, было нехорошее дело для

тех, которые прилагали их. Новое же средство таково, что оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для души человека. Прощение и воздаяние добром за зло есть добро само в себе. И потому приложение двух старых средств должно быть противно душе христианской, должно оставлять по себе раскаяние; прощение же дает высшую радость тому, кто творит его.

Третье преимущество христианского прощения перед подавлением или искусным направлением вредных элементов относится к настоящей минуте и имеет особую важность. Положение Ваше в России теперь — как положение больного во время кризиса. Один ложный шаг, прием средства ненужного или вредного, может навсегда погубить больного. Точно так же теперь одно действие в том или другом смысле: возмездие за зло жестокими казнями или вызова представителей — может связать все будущее. Теперь, в эти 2 недели суда над преступниками и приговора, будет сделан шаг, который выберет одну из 3-х дорог предстоящего распутья: путь подавления зла злом, путь либерального ослабления — оба испытанные и ни к чему не приводящие пути. И еще новый путь — путь христианского исполнения царем воли Божьей, как человеком.

Государь! По каким-то роковым, страшным недоразумениям в душе революционеров запала

страшная ненависть против отца Вашего, — ненависть, приведшая их к страшному убийству. Ненависть эта может быть похоронена с ним. Революционеры могли — хотя несправедливо — осуждать его за гибель десятков своих. Но Вы чисты перед всей Россией и перед ними. На руках Ваших нет крови. Вы — невинная жертва своего положения. Вы чисты и невинны перед собой и перед Богом. Но Вы стоите на распутье. Несколько дней, и если восторжествуют те, которые говорят и думают, что христианские истины только для разговоров, а в государственной жизни должна проливаться кровь и царствовать смерть, Вы навеки выйдете из того блаженного состояния чистоты и жизни с Богом и вступите на путь тьмы государственных необходимостей, оправдывающих все и даже нарушение закона Бога для человека.

Не простите, казните преступников, Вы делаете то, что из числа сотен Вы вырвете 3-х, 4-х, и зло родит зло, и на место 3-х, 4-х вырастут 30, 40, и сами навеки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего века, — минуту, в которую Вы могли исполнить волю Бога и не исполнили ее, и сойдете навеки с того распутья, на котором Вы могли выбрать добро вместо зла, и навеки завяжете в делах зла, называемых государственной пользой. (Мф. 5, 25).

Простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут не к Вам, не к ним (это

неважно), а перейдут от дьявола к Богу и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.

Государь, если бы Вы сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами вверху: "А я вам говорю, любите врагов своих," — не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим. Я бы плакал от умиления, как я теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал Ваше имя. Да что я говорю: не знаю, что другие. Знаю, каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов. Истины Христовы живы в сердцах людей, и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин.

И Вы, царь, провозгласили бы не словом, а делом эту истину. Но может быть, это все мечтания, ничего этого нельзя сделать. Может быть, что хотя и правда, что 1) более вероятности в успехе от таких действий, никогда еще не испытанных, чем от тех, которые пробовали и которые оказались негодными, и что 2) такое действие наверно хорошо для человека, который совершит его, и 3) что теперь Вы стоите на распутье и это единственный момент, когда Вы можете поступить по-Божьи, и что, упустив этот момент, Вы уже не вернете его, — может быть,

что все это правда, но скажут: это невозможно. Если сделать это, то погубишь государство.

Но положим, что люди привыкли думать, что божественные истины — истины только духовного мира, а не приложимы к житейскому; положим, что врачи скажут: мы не принимаем вашего средства, потому что, хотя оно и не испытанно и само в себе не вредно, и правда, что теперь кризис, мы знаем, что оно сюда не идет и ничего, кроме вреда, сделать не может. Они скажут: христианское прощение и воздаяние добром за зло хорошо для каждого человека, но не для государства. Приложение этих истин к управлению государством погубит государство.

Государь, ведь это ложь, злейшая, коварнейшая ложь: исполнение закона Бога погубит людей. Если это закон Бога для людей, то он всегда и везде закон Бога, и нет другого закона, воли Его. И нет кошунственнее речи, как сказать: закон Бога не годится. Тогда он не закон Бога. Но положим, мы забудем то, что закон Бога выше всех других законов и всегда приложим, мы забудем это. Хорошо: закон Бога неприменим и если исполнить его, то выйдет зло еще худшее. Если простить преступников, выпустить всех из заключения и ссылок, то произойдет худшее зло. Да почему же это так? Кто сказал это? Чем вы докажете это? Своей трусостью. Другого у вас нет доказательства. И кроме того, вы не имеете

права отрицать ничьего средства, так [как] всем известно, что ваши не годятся.

Они скажут: выпустить всех, и будет резня, потому что немного выпустят, то бывают малые беспорядки, много выпустят, бывают большие беспорядки. Они рассуждают так, говоря о революционерах, как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так: не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане, немцы теперь борются с ними и также безуспешно.

Есть только один идеал, который можно противопоставить им. И тот, из которого они выходят, не понимая его и кушунствуя над ним, — тот, который включает их идеал, идеал любви, прощения и воздания добра за зло. Только одно слово прощения и любви христианской, сказан-

ное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить Вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию.

Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем — человеком, исполняющим закон Христа.

Лев Толстой

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ III

Январь 1894 г. Москва.

Государь!

Простите меня, если тон этого письма и самое обращение к Вам будут не такие, к каким Вы привыкли; простите меня и, ради Бога, прочтите это письмо без чувства предубеждения и, если возможно, с тем чувством братской любви, которое свойственно всем людям и которое одно побудило меня писать Вам.

Над князем Дмитрием Александровичем Хилковым, отставным полковником, живущим теперь в Закавказском крае, куда он сослан за свои религиозные убеждения, и в особенности над его женой, совершено было в октябре нынешнего (теперь уже прошлого, 93-го, года) именем Вашим одно из самых жестоких и возмутительных преступлений, противных всем законам Божеским и человеческим. Из прилагаемого письма, писанного не для Вас и потому не подготовленного (в котором я нарочно не из-

менил и не прибавил ни одного слова), Вы узнаете, в чем заключается это неслыханное в наше время по своей жестокости дело, совершившееся, как все совершавшие его говорили, по Вашему, т. е. высочайшему повелению. К прилагаемому письму считаю нужным прибавить только некоторые подробности о положении, характере и жизни самого Хилкова.

Хилков, единственный сын богатой семьи, служил сначала в лейб-гусарах, потом во время турецкой кампании, кажется, командовал казачьим полком. Во время этой войны ему случилось в рукопашной схватке своими руками убить турецкого офицера. Случай этот имел на него такое влияние, что он тогда же объявил начальству, что не может продолжать более военной службы, и тотчас же после кампании вышел в отставку, убедившись в том, что христианство, которое он исповедывал, требует совсем другой жизни, чем та, которую он вел, и поселился в деревне. В деревне он старался вести жизнь сообразную с тем представлением, которое, справедливо или нет, он составил себе о христианской жизни. Он отдал все свое переданное ему матерью довольно большое имение крестьянам, не оставив себе ничего, и на наемной земле своим трудом стал зарабатывать свой хлеб и так жил около десяти лет.

Все это я говорю для того, чтобы обратить Ваше внимание на искренность этого человека,

не задумавшегося бросить ожидавшее его блестящее служебное положение и большое ожидавшее его состояние, только чтобы не лгать перед своей совестью. Лет десять тому назад он сошелся с девушкой Винер, дочерью отставного полковника и крымского помещика, женился на ней, и у него родилось от нее двое детей. Главное обвинение против него состоит в том, что он не венчался церковным браком с своей женой и не крестил своих детей, но он не сделал этого, как не делают этого все миллионы христиан, не признающих крещения и брака за таинства, не потому, чтобы он хотел разрушать верования православной церкви, а потому, что, как правдивый человек, он не мог исполнять обряда, в который он не верил. "Я не могу этого сделать, — говорил он при мне тем, которые убеждали его венчаться с женой и крестить детей, — не могу сделать этого, потому что если бы я пришел к священнику, прося его обвенчать меня или окрестить моих детей, и он спросил бы меня, верю ли я в то таинство, которое прошу совершить надо мной и моими детьми, я должен бы был или солгать, чего я не могу сделать, или сказать священнику правду, что я не верю в эти обряды и только для приличия требую совершения их, и тогда всякий честный священник должен бы был прогнать меня".

Живя в деревне тяжелым земледельческим трудом, зарабатывая себе и своей семье скудное

пропитание, он, бывший богатый и знатный человек, отдавший все состояние, не мог не обратить на себя внимание окружающих крестьян, и они ходили к нему, прося его заступничества в своих обидах, совета в своих затруднениях и разъяснения в своих религиозных сомнениях; и он помогал им словом, делом, советом и разъяснением их недоумений, не скрывая от них то, что он считает открытой для блага людей божеской истиной.

Жизнь его признана была вредной и с ним поступили так же, как, к сожалению, поступают последнее время Вашим же именем со всеми так называемыми сектантами, штундистами, т.е. без суда приговорили его к шестилетней ссылке и увезли его на Кавказ, где и поселили в одной из худших тамошних местностей. Как ни жестока была эта ссылка для него, семейного человека, эта ссылка, лишившая его всего того, что было устроено им годами тяжелого личного труда на прежнем месте его жительства, и переносившая его в чужую, тяжелую обстановку ссылки, он нес спокойно свое положение, продолжая на Кавказе ту же жизнь, которую он вел и в Харьковской губернии, т.е. зарабатывая своим трудом средства для самой воздержной жизни и помогая в его нуждах окрестному населению, которому он оказался нужен, ухаживая в прошлом году за холерными. Но гонителям его показалось этого мало, и они придумали самое ухищренное, жес-

токое насилие, которое только можно произвести над семейным человеком. Они, как это описывается в письме, вошли в его дом, вырвали из его рук и рук его жены ее детей в том возрасте, когда нежнее всего бывает взаимная привязанность детей и родителей, и увезли их, зная, что он, связанный ссылкой, из которой его не выпускают, и отсутствием денег, которые он отдал, не может ни сам ехать за детьми, ни дать жене средства ехать за ними.

И все это сделано, Государь, Вашим именем.

Может быть, что письмо это прогневит Вас, и Вы скажете: по какому праву позволяет себе этот человек писать мне про это?

Государь! У меня есть на это неотъемлемое право — право, которое мы слишком часто забываем, и упоминание о котором, может быть, удивит Вас, — право это есть право моей братской любви ко всем людям и поэтому и к Вам, несмотря на те мнимые перегородки, которые разделяют Вас, Императора величайшей империи, и меня, ничтожного частного человека. Я считаю, что Вы согрешили, допустив возможность совершить такое злодейское дело Вашим именем. В Евангелии же сказано, как должны поступать люди относительно согрешивших братьев. И я поступаю так: "Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата своего". (Мф. 18, 15).

Получив последнее письмо Хилкова и его жены, очевидно, вызывающие меня на то, чтобы как-нибудь помог им, я был так возмущен тем, что узнал, что хотел тотчас послать описание всего того дела в иностранные газеты. Но перед Богом спросив себя, хорошо ли бы я сделал, поступив так, я увидал, что поступить так было бы, во-первых, неразумно, потому что никакие статьи в газетах не могут изменить решения власти, если она захочет поставить на своем; а во-вторых, и главное, то, что сделав это, я поступил бы не по-евангельски относительно Вас, и потому я решил, будет что будет, по слову евангельскому, один на один писать Вам, надеясь не прогневить Вас, а приобрести в Вас брата.

(Про письмо это никто не знает, кроме одного переписчика, скромного человека, содействия которого я не мог избежать).

Боюсь, что письмо это покажется Вам дерзким, в первую минуту оскорбит Вас и вызовет в Вас, что бы мне было очень больно, недоброжелательное ко мне чувство.

Но что же мне было другого делать? Молчать мне нельзя было, совесть моя замучила бы меня. А писать Вам со всеми теми околичностями и льстивыми словами, с которыми принято обращаться к Государям, я не мог, да это было бы дурно, потому что в этих условных искусственных формах нельзя сказать всего, что нужно, и добраться до сердца человека, к которому пи-

шешь. А мне этого только и нужно, потому что я знаю, что если слова мои дойдут до Вашего сердца, то дело мое будет выиграно. И потому умоляю Вас, Государь, победите в себе чувство недоброжелательства, которое вызовет, может быть, в Вас непривычная Вам откровенность этого письма, и верьте, что руководит мной только любовь к Вам — братская, христианская любовь, которая не знает различия положений, а знает только желание добра тому, к кому она обращена.

Вы, я думаю, так привыкли к тому, что все обращения к Вам имеют корыстную или вообще личную цель, что, получая письмо или прошение, всегда думаете: чего собственно для себя хочет этот проситель? Но мне ведь для себя ничего не нужно. Вы ничего и не можете дать мне и ничего не можете лишить меня; и то, о чем я позволяю себе просить Вас, не только для меня, но даже и для Хилкова и его семьи меньше нужно, чем для Вас. Они перенесут свои страдания и лишения легко, потому что они несут их во имя Христа, и на их стороне будут и теперь уже все лучшие люди, от немца колониста, который готов был загнать лошадей, только бы помочь невинно страдающим людям, и полицейского, нарушающего приказ, только бы облегчить участь обиженных, — все будут на их стороне, от этих малообразованных людей до всех самых высокообразованных людей мира теперешнего и буду-

щего, которые когда-либо узнают про это дело. Вам же, Государь, не может не быть мучительно тяжело знать, какое ужасное дело сделалось Вашим именем, и на Вашей стороне никто не будет, кроме худших людей, — тех льстецов, которые готовы оправдать и даже восхвалять все, что делается не только Вами, но и Вашим именем.

И не слушайте, ради Бога, все, что будут говорить Вам о том, будто бы есть какие-то соображения государственные и, — что особенно лживо, — соображения церковные, т.е. христианские, по которым нужно совершать такие антихристианские поступки, как отнятие детей у матери.

Не слушайте и не верьте тем, которые будут говорить Вам это, потому что не могут быть для человека, в каком бы положении он ни находился, — Царя, как Вы, или полицейского, как тот пристав, который вырывал у матери детей, — по которым бы мог быть принужден человек совершать поступки, противные божескому закону любви, открытому нам в писании и в нашей совести. Не может этого быть, во-первых, потому, что всякие гонения за веру, как те, которые с особенной жестокостью производят у нас последнее время, не только не достигают своей цели, но, напротив, роняют в глазах людей ту церковь, для поддержания которой совершаются нехристианские дела. Не может быть этого еще

и потому, — и это главное, — что все общие государственные и церковные соображения, как бы мы ни были уверены в них, могут оказаться несправедливыми, как это постоянно и оказывается; то же, что каждый из нас всякую минуту может умереть, т.е. вернуться к Тому, Кто, послав нас в этот мир, дал нам для исполнения один вечный и несомненный закон любви, по которому никто из нас не может и не должен быть не только совершителем, но хотя бы и самым далеким участником жестоких, недобрых, немилостивых дел, — в этом-то уже не может быть ни для кого ни малейшего сомнения.

Верьте, Государь, что все, что я написал здесь, я писал в виду того же смертного часа, который ожидает всех нас и тем более меня, стоящего уже по своим годам одной ногой в гробу, — писал перед Богом и писал с искренним уважением и с состраданием любящего брата к Вам, человеку, поставленному в одно из самых исполненных соблазнов и потому тяжелых и мучительных положений, которые только выпадают на долю человека.

Любящий Вас

Лев Толстой.

НИКОЛАЙ ПАЛКИН

Мы ночевали у 95-летнего солдата. Он служил при Александре I и Николае.

— Что, умереть хочешь?

— Умереть? Еще как хочу. Прежде боялся, а теперь об одном Бога прошу: только бы покаяться, причаститься привел Бог. А то грехов много.

— Какие же грехи?

— Как какие? Ведь я когда служил? При Николае; тогда разве такая, как нынче, служба была! Тогда что было? У! Вспоминать, так ужась берет. Я еще Александра застал. Александра того хвалили солдаты, говорили — милостив был.

Я вспомнил последние времена царствования Александра, когда из 100—20 человек забивали насмерть. Хорош же был Николай, когда в сравнении с ним Александр казался милостивым.

— А мне довелось при Николае служить, — сказал старик. — И тотчас же оживился и стал рассказывать.

— Тогда что было, — заговорил он. — Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300... насмерть запарывали.

Говорил он и с отвращением, и с ужасом, и не без гордости о прежнем молодечестве.

— А уж палками — недели не проходило, чтобы не забивали насмерть человека или двух из полка. Нынче уж и не знают, что такое палки, а тогда это словечко со рта не сходило. Палки, палки!.. У нас и солдаты Николая Палкиным прозвали. Николай Павлыч, а они говорят Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище.

— Так вот, как вспомнишь про то время, — продолжал старик, — да век-то отжил — помирать надо, как вспомнишь, так и жутко станет. Много греха на душу принято. Дело подначальное было. Тебе всыпят 150 палок за солдата (отставной солдат был унтер-офицер и фельдфебель, теперь кандидат), а ты ему 200. У тебя не заживет от того, а ты его мучаешь — вот и грех.

— Унтер-офицера до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свиснет в какое место нужное: в грудь, или в голову, он и помрет. И никогда взыску не было. Помрет от убоя, а начальство пишет: "Властию Божию помре". И крышка. А тогда разве понимал это? Только об себе думаешь. А теперь вот вороча-

ешься на печке, ночь не спится, все тебе думается, все представляется. Хорошо, как успеешь причаститься по закону христианскому, да простится тебе, а то ужась берет. Как вспомнишь все, что сам терпел да от тебя терпели, так и аду не надо, хуже аду всякого...

Я живо представил себе то, что должно вспоминаться в его старческом одиночестве этому умирающему человеку, и мне вчуже стало жутко. Я вспомнил про те ужасы, кроме палок, в которых он должен был принимать участие. Про загоняние насмерть сквозь строй, про расстреливанье, про убийства и грабежи городов и деревень на войне (он участвовал в польской войне), и я стал расспрашивать его про это. Я спросил его про гоняние сквозь строй.

Он рассказал подробно про это ужасное дело. Как ведут человека, привязанного к ружьям и между поставленными улицей солдатами с шпичрутенами палками, как все бьют, а позади солдат ходят офицеры и покрикивают: "Бей больней!"

— "Бей больней!" — прокричал старик начальническим голосом, очевидно не без удовольствия вспоминая и передавая этот молодецки-начальнический тон.

Он рассказал все подробности без всякого раскаяния, как бы рассказывал о том, как бьют быков и свежую говядину. Он рассказал о том, как водят несчастного взад и вперед между ря-

дами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, как сначала видны кровяные рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брызжет кровь, как клочьями летит окровавленное мясо, как оголяются кости, как сначала еще кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор, для этого приставленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли еще бить человека или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мученье сначала и добавить то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему. Доктор употребляет свое знание на то, чтобы человек не умер прежде, чем не вынесет все те мучения, которые может вынести его тело.

Рассказывал солдат после, как после того, как он не может больше ходить, несчастного кладут на шинель ничком и с кровяной подушкой во всю спину несут в госпиталь вылечивать с тем, чтобы, когда он вылечится, добавить ему ту тысячу или две палок, которые он недополучил и не вынес сразу.

Рассказывал, как они просят смерти и им не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз. И он живет и лечится в госпитале, ожидая новых мучений, которые доведут его до смерти.

И его ведут второй или третий раз и тогда уже добивают насмерть. И все это за то, что человек или бежит от палок, или имел мужество и самоотвержение жаловаться за своих товарищей на то, что их дурно кормят, а начальство крадет их паек.

Он рассказывал все это, и когда я старался вызвать его раскаяние при этом воспоминании, он сначала удивился, а потом как будто испугался.

— Нет, — говорит, — это что ж, это по суду. В этом разве я причинен? Это по суду, по закону.

То же спокойствие и отсутствие раскаяния было у него и по отношению к военным ужасам, в которых он участвовал и которых он много видел и в Турции и в Польше. Он рассказал об убитых детях, о смерти голодом и холодом пленных, об убийстве штыком молодого мальчика-поляка, прижавшегося к дереву.

И когда я спросил его, не мучают ли совесть его и эти поступки, он уже совсем не понял меня. Это на войне, по закону, за царя и отечество. Это дела, по его понятию, не только не дурные, но такие, которые он считает доблестными, добродетельными, искупающими его грехи. То, что он разорял, губил не повинных ничем детей и женщин, убивал пулей и штыком людей, то, что сам засекал, стоя в строю, насмерть людей и таскал их в госпиталь и опять назад на мученье, это все

не мучает его, это все как будто не его дела. Это все делал как будто не он, а кто-то другой.

Есть у него кое-какие свои грешки личные, когда он без того, что он называет законом, бил и мучал людей, и эти мучают его, и для искупления от них он уж много раз причащался и еще надеется причаститься перед самой смертью, рассчитывая на то, что это загладит мучающие его совесть грехи. Но он все-таки мучается, и картины ужасов прошедшего не покидают его.

Что бы было с этим стариком, если бы он понял то, что так должно бы быть ясно ему, стоящему на пороге смерти, что между всеми делами его жизни, теми, которые он называет: по закону, и всеми другими нет никакого различия, что все дела его те, которые он мог сделать и не сделать (а бить и не бить, убивать и не убивать людей всегда было в его власти), что все дела его — его дело, что как теперь, накануне его смерти, нет и не может быть никакого посредника между ним и Богом, так и не было и не могло быть и в ту минуту, когда его заставляли мучать и убивать людей. Что б с ним было, если бы он понял теперь, что не должен был бить и убивать людей и что закона о том, чтобы бить и убивать братьев, никогда не было и не могло быть. Если бы он понял, что есть только один вечный закон, который он всегда знал и не мог не знать — закон, требующий любви и жалости к людям, а что то, что он называет теперь законом, был дерзкий,

безбожный обман, которому он не должен был поддаваться. Страшно подумать о том, что представлялось бы ему в его бессонные ночи на печке и каково было бы его отчаянье, если бы он понял это. Мучения его были бы ужасны.

Так зачем же и мучать его? Зачем мучать совесть умирающего старика? Лучше успокоить ее. Зачем раздражать народ, вспоминать то, что уже прошло?

Прошло? Что прошло? Разве может пройти то, чего мы не только не начинали искоренять и лечить, но то, что боимся назвать и по имени. Разве может пройти жестокая болезнь только от того, что мы говорим, что прошло. Оно и не проходит, и не пройдет никогда, и не может пройти, пока мы не признаем себя больными. Для того чтобы излечить болезнь, надо прежде признать ее. А этого-то мы и не делаем. Не только не делаем, но все усилия наши употребляем на то, чтобы не видеть, не называть ее. Болезнь и не проходит, а только видоизменяется, въедается глубже в плоть, в кровь, в кости, в мозг костей.

Болезнь в том, что люди, рожденные добрыми, кроткими, люди, с вложенной в их сердце любовью, жалостью к людям, совершают — люди над людьми — ужасающие жестокости, сами не зная, зачем и для чего. Наши русские люди, кроткие, добрые, все проникнутые духом учения Христа, люди, кающиеся в душе о том, что словом

оскорбляли людей, что не поделились последним с нищим и не пожалели заключенных, эти люди проводят лучшую пору жизни в убийстве и мучительстве своих братьев и не только не каются в этих делах, но считают эти дела или доблестью, или, по крайней мере, необходимостью, такую же неизбежную, как пища или дыхание. Разве это не ужасная болезнь? И разве не лежит на обязанности каждого делать все, что он может, для исцеления ее, и первое, главное, указать на нее, признать ее, назвать ее именем.

Солдат старый провел всю свою жизнь в мучительстве и убийстве других людей. Мы говорим: зачем поминать? Солдат не считает себя виноватым, и те страшные дела: палки, сквозь строй и другие — прошли уже; зачем поминать старое? Теперь уж этого нет больше. Был Николай Палкин. Зачем это вспоминать? Только старый солдат перед смертью помянул. Зачем раздражать народ? Так же говорили при Николае про Александра. То же говорили при Александре про павловские дела. Так же говорили при Павле про Екатерину. Так же при Екатерине про Петра и т.д. Зачем поминать? Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь или опасная и я излечился или избавился от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все так же болею, еще хуже, и мне хочется обмануть себя. И мы не поминаем только оттого, что мы знаем, что

мы больны все так же, и нам хочется обмануть себя.

Зачем огорчать старика и раздражать народ? Палки и сквозь строй — все это уж прошло.

Прошло? Изменило форму, но не прошло. Во всякое прошедшее время было то, что люди последующего времени вспоминают не только с ужасом, но с недоумением: правежи, сжигания за ереси, пытки, военные поселения, палки и гоняния сквозь строй. Мы вспоминаем все это и не только ужасаемся перед жестокостью людей, но не можем себе представить душевного состояния тех людей, которые это делали. Что было в душе того человека, который вставал с постели, умывшись, одевшись в боярскую одежду, помолвившись Богу, шел в застенок выворачивать суставы и бить кнутом стариков, женщин и проводил за этим занятием, как теперешние чиновники в сенате, свои обычные пять часов и ворочался в семью и спокойно садился за обед, а потом читал Священное писание? Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием насмерть сквозь строй бежавшего солдата-татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью. Ведь все это было и при Петре, и при Екатерине, и при Александре, и при Николае. Не было вре-

мени, в которое бы не было тех ужасов, которые мы, читая их, не можем понять. Не можем понять того, как могли люди не видеть тех ужасов, которые они делали, не видеть, если уже не зверства бесчеловечности тех ужасов, то бессмысленность их. Во все времена это было. Неужели наше время такое особенное, счастливое, что в наше время нет таких ужасов, нет таких поступков, которые будут казаться столь же непонятными нашим потомкам? Нам ясна теперь не только жестокость, но бессмысленность сжигания еретиков и пыток судейских для узнавания истины. Ребенок видит бессмысленность этого; но люди того времени не видели этого. Умные, ученые люди утверждали, что пытки — необходимое условие жизни людей, что это тяжело, но без этого нельзя. То же с палками, с рабством. И пришло время, и нам трудно представить себе то состояние умов, при котором возможно было такое грубое заблуждение.

Где наши пытки, наше рабство, наши палки? Нам кажется, что их нет, что это было прежде, но теперь прошло. Нам кажется это оттого, что мы не хотим понять старого и старательно закрываем на него глаза.

Если мы прямо поглядим на прошедшее, нам откроется и наше настоящее. Если мы только перестанем слепить себе глаза выдуманнными государственными пользами и благами и посмотрим на то, что одно важно: добро и зло жизни

людей, нам все станет ясно. Если мы назовем настоящими именами костры, пытки, плахи, клейма, рекрутские наборы, то мы найдем и настоящее имя для тюрем, острогов, войск с общею воинскою повинностью, прокуроров, жандармов.

Если мы не будем говорить: зачем поминать? и не будем заслонять дел людских прошедшего воображаемыми пользами для различных фикций, мы поймем то, что делалось прежде, поймем и то, что делается теперь.

Если нам ясно, что нелепо и жестоко рубить головы на плахе и узнавать истину от людей посредством выворачивания их костей, то так же ясно станет и то, что так же, если не еще более, нелепо и жестоко вешать людей или сажать в одиночное заключение, равное или худшее смерти, и узнавать истину через наемных адвокатов и прокуроров. Если нам ясно станет, что нелепо и жестоко убивать заблудшего человека, то так же ясно станет и то, что еще нелепее сажать такого человека в острог, чтоб совсем развратить его; если ясно станет, что нелепо и жестоко ловить мужиков в солдаты и клеймить, как скотину, то так же нелепо и жестоко забирать всякого 21-летнего человека в солдаты. Если ясно станет, как нелепа и жестока причина, то еще яснее будет нелепость и жестокость гвардий и охраны.

Если мы только перестанем закрывать глаза на прошедшее и говорить: зачем поминать ста-

рое, нам ясно станет, в чем наши точно такие же ужасы, только в новых формах. Мы говорим: все это прошло. Прошло, теперь уж нет пыток, блудниц Екатерин с их самовластными любовниками, нет рабства, нет забиванья насмерть палками и др. Но ведь только так кажется.

Триста тысяч человек в острогах и арестантских ротах сидят, запертые в тесные, вонючие помещения, и умирают медленной телесной и нравственной смертью. Жены и дети их брошены без пропитания, а этих людей держат в вертепе разврата — острогах и арестантских ротах, и только смотрители, полновластные хозяева этих рабов, суть те люди, которым на что-нибудь нужно это жестокое бессмысленное заключение. Десятки тысяч людей с вредными идеями в ссылках разносят эти идеи в дальние углы России и сходят с ума и вешаются. Тысячи сидят по крепостям или убиваются тайно начальниками тюрем, или сводятся с ума одиночными заключениями. Миллионы народа гибнут физически и нравственно в рабстве у фабрикантов. Сотни тысяч людей каждую осень отбираются от семей, от молодых жен, приучаются к убийству и систематически развращаются. Царь русский не может выехать никуда без того, чтобы вокруг него не была цепь явная сотен тысяч солдат, на 50 шагов друг от друга расставленная по дороге, и тайная цепь, следящая за ним повсюду. Король собирает подати и строит

башни, и на башне делает пруд, и в пруду, выкрашенном синей краской, и с машинами, представляющими бурю, катается на лодке. А народ мрет на фабриках: и в Ирландии, и во Франции, и в Бельгии.

Не нужно иметь особой проницательности, чтобы видеть, что в наше время все то же и что наше время полно теми же ужасами, теми же пытками, которые для следующих поколений будут так же удивительны по своей жестокости и нелепости.

Болезнь все та же, и болезнь не столько тех, которые пользуются этими ужасами, сколько тех, которые приводят их в исполнение. Пускай бы Петры, Екатерины, Палкины, Баварские короли пользовались в 100, в 1000 раз более. Пускай бы устраивали башни, театры, балы, обирали бы народ. Пускай Палкин засекал бы народ, пускай теперешние злодеи вешали бы сотнями тайком в крепостях, только бы они делали это сами, только бы они не развращали народ, не обманывали его, заставляя его участвовать в этом, как старого солдата.

Ужасная болезнь эта, болезнь обмана о том, что для человека может быть какой-нибудь закон выше закона любви и жалости к ближним и что потому он никогда не может ни по чьему требованию делать очевидное несомненное зло своим братьям, убивая, засекая, вешая их, сажая

тюрьмы, забирая их в солдаты, отбирая от них подати.

1880 лет тому назад на вопрос фарисеев о том, позволительно давать подать кесарю или нет, сказано: отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу.

Если бы была у людей в наше время хоть слабая вера в учение Христа, то они считали бы должным Богу хоть то, чему не только словами учил Бог человека, сказав: "не убий"; сказав: "не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали"; сказав: "люби ближнего, как самого себя", — но то, что Бог неизгладимыми чертами написал в сердце каждого человека: любовь к ближнему, жалость к нему, ужас перед убийством и мучительством братьев.

Если бы люди верили Богу, то они не могли бы не признавать этой первой обязанности к нему, исполнять то, что он написал в их сердце, то есть жалеть, любить, не убивать, не мучать своих братьев. И тогда слова: кесарево кесарю, а Божье Богу имели бы для них значение.

Царю или кому еще все, что хочешь, но только не Божие. Нужны кесарю мои деньги — бери; мой дом, мои труды — бери. Мою жену, моих детей, мою жизнь — бери; все это не Божие. Но нужно кесарю, чтоб я поднял и опустил прут на спину ближнего; нужно ему, чтобы я держал человека, пока его будут бить, чтобы я связал человека или с угрозой убийства, с оружием в руке

стоял над человеком, когда ему делают зло, чтобы я запер дверь тюрьмы за человеком, чтобы я отнял у человека его корову, хлеб, чтобы я написал бумагу, по которой запрут человека или отнимут у него то, что ему дорого, — всего этого я не могу, потому что тут требуются поступки мои, а они-то и есть Божие. Мои поступки — это то, из чего складывается моя жизнь, жизнь, которую я получил от Бога, я отдам ему одному. И потому верующий не может отдать кесарю то, что Божие. Идти через строй, идти в тюрьму, на смерть, отдавать подати кесарю, — все это я могу, но бить в строю, сажать в тюрьму, водить на смерть, собирать подати — всего этого я не могу для кесаря, потому что тут кесарь требует от меня Божие.

Но мы дошли до того, что слова: "Богу Божие" — для нас означают то, что Богу отдавать копечные свечи, молебны, слова — вообще все, что никому, тем более Богу, не нужно, а все остальное, всю свою жизнь, всю святыню своей души, принадлежащую Богу, отдавать кесарю!

СОН МОЛОДОГО ЦАРЯ

Молодой царь только что вступил на царство. Пять недель он не переставая работал так, как работают цари, выслушивая доклады, подписывая бумаги, принимая послов и представляющихся сановников и делая смотры войскам. И он устал и, как измученный в жару путешественник жаждет воды и отдохновения, жаждал хоть одного дня без представлений, речей, смотров, хоть нескольких часов свободы и простой человеческой жизни, которые он мог бы прожить для себя с молодой красавицей, умной женой, с которой он обвенчался только месяц тому назад.

Был рождественский сочельник. Молодой царь к этому вечеру устроил себе полный отдых. Накануне этого дня он до поздней ночи работал над бумагами, оставленными ему министрами, утром присутствовал на молебствии и военном празднике, до обеда принимал являвшихся к

нему и потом еще слушал доклады министров и утвердил много важных дел. С министром финансов он утвердил изменение пошлины на заграничные товары, которое должно было дать прибавление многих миллионов дохода, утвердил продажу от казны вина в нескольких частях государства и постановление о праве продажи вина в больших базарных селах, что тоже должно увеличить главный доход государства — с вина, утвердил и новый золотой заем, нужный для конверсии. С министром юстиции он утвердил докладывавшееся ему сложное дело о наследстве баронов Шатен-Шнидеров и правила о применении 1836-й статьи уголовного закона, о наказании бродяг. С министром внутренних дел утвердил циркуляр о взыскании недоимок, подписал указ о мерах пресечения сектантства и о продолжении охраны в тех губерниях, в которых она была введена. С военным министром решил назначение нового корпусного командира и правила о призыве новобранцев, о взыскании за нарушение дисциплины. И только к обеду освободился. Но свобода не была полная, потому что обедало несколько сановников, с которыми надо было говорить не то, что хотелось, а то, что требовалось.

Наконец скучный обед кончился, все разъехались. Молодая царица пошла в свои комнаты снять то платье, в котором она обедала, и хотела тотчас же прийти к нему.

Пройдя мимо вытянувшихся камер-лакеев в свою комнату, сбросив тяжелый мундир и надев куртку, молодой царь почувствовал не только радость освобождения, но какое-то особенное умиление от сознания свободы и жизни, счастливой, здоровой, молодой жизни и молодой любви. Он вскочил с ногами на оттоманку, оперся головой на руку и стал смотреть на матовое стекло лампы, и вдруг он почувствовал то, что не испытывал с детства, — радость засыпания и непреодолимую сонливость. "Сейчас придет жена, а я засну. Не надо спать", — подумал он. Он опустил руку с локтя, подставил ладонь под щеку, голова улеглась в теплую ладонь, поправился, и стало так хорошо, хорошо, что только одного он желал: чтобы что-нибудь не нарушило его состояния. И с ним случилось то, что случается каждый день со всеми нами, — то, что он заснул, сам не зная, как и когда, то есть независимо от своей воли перешел от одного сознания в другое, не желая его и не жалея того, из которого он вышел. Он заснул крепким — мертвым сном.

Долго ли он спал, он не помнит, но вдруг тихое покачивание руки, державшей его за плечо, разбудило его. "Она — милая, — подумал он. — Как стыдно, что я заснул".

Но это была не она. Перед открытыми его и щурящимися от света глазами стояла не она, та милая красавица, которую он ждал увидеть, а *она*.

Кто был этот *он*, он не знал, но его не удивило нисколько присутствие этого никогда не виданного им лица. Ему казалось, что он давно знает его, и мало того, что знает, — любит его, верит ему так же, как самому себе. Он ждал любимую жену, и вместо нее пришел к нему никогда не виденный человек, и молодой царь не только не испугался, не огорчился, но принял это как что-то естественное и должное.

— Пойдем, — шепотом, без всякого звука голоса сказал пришедший.

— Да, да, пойдем, — сказал молодой царь, не зная куда, но зная, что он должен, не может не покоряться требованию пришедшего.

— Как же мы пойдем? — спросил молодой царь.

— А вот так.

И пришедший наложил свою руку на голову царя, и царь почувствовал, что он мгновенно потерял сознание.

Долго ли, коротко ли он был в этом положении, царь не мог сообразить, но когда он очнулся, он увидел себя в открытом поле на широком рубеже. С одной стороны, с правой, тянулись картофельные поля с выбранной и сложенной в кучи, почерневшей от морозов ботвой вперемежку с озимью зеленой пшеницы, вдали виднелась деревенька, покрытая черепицами, налево были озимые поля и жнивье. Все было пусто, только по черте виднелась далеко впереди

черная фигура человека с винтовкой за спиной и собачкой у ног. Там же, где увидал себя молодой царь, рядом с ним, сидел, у его ног почти, молодой русский солдат с зеленым околышем и тоже с винтовкой за плечами и загибал бумажный крючок, готовясь сыпать в него табак. Солдат, очевидно, не видал ни царя, ни его спутника и не слышал их. Когда царь над самым солдатом спросил: "Где мы?" и спутник ответил: "На прусской границе", — солдат даже не оглянулся.

Но вдруг раздался выстрел далеко впереди, солдат вскочил, и увидав двух бегущих согнувшихся человек, поспешно засунул свой табак в карман и побежал за беглецами. "Стой, убью", — закричал солдат. Бегущий оглянулся на бегу и что-то крикнул — очевидно, ругательство или насмешку. "А, проклятый", — крикнул солдат, остановился, выставил немного ногу вперед, приложился, поднял правую руку, что-то быстро сделал с прицелом, опять приложился, повел по бегущему и, очевидно, выстрелил, хотя и не слышно было звука. "Верно, бездымный порох", — подумал царь и, взглянув на бегущего, увидал, что он быстрее засеменял ногами, больше и больше стал нагибаться, совсем упал на четвереньки, пополз и остановился. Бежавший товарищ, бывший впереди его, вернулся назад, побежал к упавшему, что-то сделал над ним и побежал дальше.

— Что это? — спросил царь.

— Это пограничная стража соблюдает закон о пошлинах. Человек этот убит для того, чтобы не было ущерба доходу государства.

— Разве он убит?

Спутник опять прикоснулся к голове царя, опять он потерял сознание и когда очнулся, то увидел себя в небольшой комнате — это был пост, — где на полу лежал труп человека с седоющей редкой бородой, горбатым носом и очень выпуклыми, закрытыми веками глазами. Руки у него были раскинуты, ноги босые, с толстым, грязным большим пальцем, ступни под прямым углом торчали кверху. В боку человека была рана, и вся суконная рваная куртка и синяя рубаха были залиты засохшей, почерневшей, только кое-где краснеющей кровью. Женщина, увязанная платком так, что почти не видно было ее лица, стояла у стены, неподвижно смотрела на горбатый нос, на торчащие ступни и выпуклые яблоки глаз и равномерно после довольно долгих промежутков втягивала в себя воздух, сопли и слезы и опять замирала. Девочка тринадцати лет, красоточка, стояла, открыв ротик и выпучив глаза, рядом с матерью. Мальчишка лет шести, держась за юбку матери, не спуская глаз, смотрел на мертвого отца.

Из соседней двери вышли чиновник, офицер, доктор и писец с бумагами. За ними шел солдат, тот, который убил. Он вошел бойко вслед за начальством, но как только он увидел мертвеца, он

вдруг побледнел, щеки его задергались и он опустил голову и замер. Когда же чиновник спросил его, тот ли это человек, который бежал через границу и в которого он стрелял, он не мог ответить. Его губы зашлепали, подбородок запрыгал. "Так то-то-чно", — проговорил он и так и не мог сказать, как хотел: так точно, ваше высокоблагородие.

Чиновники переглянулись между собою и стали что-то записывать.

А вот благодетельные действия того же положения. В нелепо-рокошной комнате сидели за вином два человека: один старый, седой, другой молодой еврей. Молодой держал пачку денег и торговался. Он покупал контрабандный товар.

— Ведь вам недорого стало, — сказал он, улыбаясь.

— Да, а риск...

.....

— Да, это ужасно, — сказал молодой царь, — но что же делать? Ведь это необходимо.

Спутник ничего не ответил и опять только сказал: "Пойдем", — и опять наложил руку.

Когда он очнулся, он был в каком-то доме в небольшой комнатке, освещенной лампой с абажуром. За столом сидела женщина и шила, мальчик лет восьми, с ногами на кресле, повалившись на стол, рисовал, студент читал вслух. В комнату шумно вошли отец и дочь.

— Вот ты подписал указ о продаже вина, — сказал спутник.

— Ну что? — спросила жена.

— Едва ли он останется жив.

— Да что же?

— Опоили вином.

— Да не может быть! — вскрикнул сын. — Ваньку Морошкина, да ведь ему девять лет.

— Что же ты сделал? — спросила жена мужа.

— Сделал, что можно было: дал рвотное, поставил горчичники. Все признаки белой горячки.

— Да в доме-то все, все пьяные, одна Анисья еще кое-как держится, тоже пьяна, но не совсем, — сказала дочь.

— Что же твое общество трезвости? — сказал студент сестре.

— Да что же можно сделать, когда их со всех сторон спаивают. Папа хотел закрыть кабак, — оказывается, что нельзя по закону. Но мало того, когда я убеждала Василия Ермилина, что стыдно держать кабак, спаивать народ, он мне отвечал, и, очевидно, с гордостью, что срезал меня при народе: "А как же патент дается с орлом от государя императора. Коли бы плохое дело было, не было бы на то царского указа".

— Ужасно. Вся деревня третий день пьяна. И это праздник. Страшно подумать. Доказано, что вино никогда не полезно, всегда вредно, доказано, что это яд, доказано, что 0,99 преступлений совершаются от пьянства, доказано, что в стра-

нах, где прекращено пьянство, как в Швеции, у нас в Финляндии, тотчас поднялась и нравственность и благосостояние и что все это можно сделать нравственным влиянием. И у нас та сила, которая имеет высшее влияние, правительство, царь, чиновники, распространяют пьянство, главный доход получают с пьянства народа, сами пьют. Пьют тосты за здоровье. "Пью за здоровье полка!" и т.п. Попы, архиереи пьют.

Спутник опять притронулся рукой до молодого царя, и опять он забылся и, когда проснулся, увидел себя в избе. С красным лицом и налитыми кровью глазами с опущенными зрачками сорокалетний мужик бешено молотил руками по лицу старика. Старик закрывался одной рукой, другой же, вцепившись за бороду, не выпускал ее.

— Ты отца бить!

— А мне все одно в Сибирь, убью!

Женщины выли. В избу вломилось пьяное начальство и разняло отца с сыном. У сына была вырвана борода, у отца сломана рука. В сенях пьяная девка отдавалась пьяному старому мужику.

— Это звери, — сказал молодой царь.

— Нет, это дети.

Опять прикосновение руки, и опять молодой царь очнулся еще в новом месте. Место это была камера мирового судьи. Мировой судья — жир-

ный, плешивый человек, с висящим двойным подбородком, в цепи, только что встал и читал громким голосом свое решение. Толпа мужиков стояла за решеткой. Оборванная женщина сидела на лавочке и не встала. Сторож толкнул ее.

— Заснула. Встань.

Женщина встала.

— По указу Его Императорского Величества, — читал мировой свое решение. Дело было в том, что эта самая женщина, проходя мимо гумна помещика, унесла полснопа овса. Мировой судья приговорил ее к двум месяцам тюрьмы. Тут же сидел тот самый помещик, у которого был украден овес. Когда судья объявил перерыв, помещик подошел к судье и пожал ему руку. Судья что-то поговорил с ним. Следующее дело было дело о самоваре... Потом о порубке.

В окружном суде шло дело о крестьянах, отогнавших станового.

Опять забвение и пробуждение в деревне. Голодные, холодные ребята корчемщицы и любовник, у порубщика, и надрывная работа жены мужика, отпихнувшего станового.

Опять новая картина: в Сибири в остроге секут плетью бродягу.

Вот следствие прямое распоряжений по министерству юстиции.

Опять забвение, и новая картина. Еврейская семья часовщика за то, что он беден, выгоняется. Жиденята ревут. Исаак не может переварить, что

рядом оставляют. Полицмейстер берет взятку, берет и губернатор тонкую взятку.

Вот собирают подати. Продажа в деревне коровы. Взятки исправника с фабриканта, который не платит.

А вот волостной суд и исполнение суда — розги.

— Илья Васильевич, нельзя ли избавить?

— Нет.

Заплакал.

— Христос терпел и нам велел.

Штундистов разгоняют. Не венчают и не хоронят лютеранина. А вот распоряжение проезда царского. На грязи, холоду, без пищи сидят и ругаются. А вот распоряжение по учреждениям императрицы Марии: разврат воспитательных домов.

А вот памятник церковного воровства. А вот усиленная охрана, обыск женщины. Высылка, пересыльный замок. А вот виселица за убийство приказчика..

А вот следствие военных распоряжений. Несут мундир и смеются. Набор. Берут последних кормильцев и оставляют миллионерам для прокормления родителей их сыновей. Университетских, учителей, музыкантов освобождают, а даровитых, поэтичных берут.

А вот солдатики с их распутством, а вот солдаты с их распутством и разносом сифилиса.

И вот он бежит. И вот его судят. Судят за то, что ударил офицера, оскорбившего его мать. Казнят. А этих судят за то, что не стреляли. А бежавшего — в дисциплинарный, и там секут насмерть. А вот этого за ничто секут и сыпят солью — и он умирает. А вот крадут деньги солдатские, — пить, распутничать, карты и гордость...

А вот общий уровень благосостояния народа: заморыши дети, вырождающиеся племена, жилье с животными, непрерывная тупая работа, покорность и уныние.

И вот они, министры, губернаторы, — только корыстолюбие, честолюбие, тщеславие и желание приобрести важность и запугать.

— Да где ж люди?

— А вот они где.

Келья одиночная — заключенная в Шлиссельбурге, сходящая с ума. Вот другая женщина, девушка с регулами, во власти солдат. Вот в ссылках одинокие, замерзшие или озлобленные. Вот на каторге, где секут женщин.

— И их много?

— Десятки тысяч лучших людей. Одни здесь, другие загублены ложным, убийственным воспитанием, желанием сделать из них таких людей, каких нам надо. Тех не делают, а какие бы они были — портят. Как если бы из ростков ржи мы бы хотели сделать ростки гречихи, мы рывали бы перо и губили бы рожь, и не получили

бы гречихи. И так гибнет вся надежда мира, все молодое подрастающее поколение. Но горе тому, кто соблазнит единого из малых сих, горе за одного, и на твоей совести, твоим именем соблазняют миллионы их, соблазняют всех тех, над которыми ты имеешь власть.

— Но что же мне делать? — с отчаянием вскрикнул царь. — Ведь я не хочу никого мучать, сечь, развращать, убивать, — я хочу добра всем людям; если я себе хочу счастья, то я не меньше счастья желаю всем людям. И неужели я ответственен за все то, что делается моим именем. Что же мне делать? Как мне избавиться от этой ответственности? Что мне делать? Не может быть, чтобы я был ответственен за все это. Если бы я чувствовал себя ответственным за одну сотую, я сейчас же застрелился бы, потому что так жить нельзя. Чем я могу прекратить все это зло? Оно связано с существованием государства. А я стою во главе его. Как же мне быть? Убить себя? Или уйти? Но тогда я не исполню своей обязанности. Боже мой, Боже мой, помоги мне.

И он заплакал и проснулся в слезах.

”Как хорошо, что это было во сне”, — было первою его мыслью. Но когда он стал вспоминать все, что он видел, и стал проверять это с действительностью, он увидел, что вопрос, возникший в нем во сне, оставался наяву тем же важным и столь же неразрешенным вопросом. В первый раз молодой царь почувствовал всю от-

ветственность, которая лежала на нем, и ужаснулся перед нею.

И он перестал уже думать о молодой царице и о радости предстоящего вечера, а весь был поглощен неразрешимым, представившимся ему вопросом: как быть?

В беспокойстве он встал и вышел в соседнюю комнату. Там старый придворный, сотрудник и друг его покойного отца, стоял посредине комнаты, разговаривая с молодой царицей, шедшей к своему мужу. Молодой царь остановился с ними и рассказал, обращая преимущественно к старому придворному, то, что он видел во сне, и свои сомнения.

— Все это очень хорошо и доказывает только несравненную высоту вашей души, — сказал старый придворный. — Простите меня, я буду говорить прямо: вы слишком хороши, чтобы быть царем, и вы преувеличиваете свою ответственность. Во-первых, все не совсем так, как вы себе представляете, народ не беден, а благоденствует, а кто беден, тот сам виноват. Наказаны виновные, а если есть неизбежные ошибки, то это, как удар грома, — случай или воля Бога. И ответственность на вас только одна, та, чтобы исполнять мужественно свое дело и держать ту власть, которая дана вам. Вы хотите добра вашим подданным, и Бог видит это, а то, что есть невольные ошибки, на это есть молитва, и Бог будет руководить и простит вас. А главное то, что

и прощать нечего, потому что людей с такими необычайными достоинствами, как вы и ваш родитель, не было и не будет. И потому от вас мы просим одного: живите и отвечайте на нашу беспредельную преданность и любовь своими милостями, и все, кроме негодяев, не заслуживающих счастья, будут счастливы.

— А ты как думаешь? — спросил молодой царь жену.

— Я думаю не так, — сказала молодая умная женщина, воспитанная в свободной стране. — Я рада этому твоему сну, я думаю так же, как и ты, что ответственность, лежащая на тебе, ужасна. Я часто мучалась этим. И мне кажется, что средство снять с себя хотя не всю, но ту, которая непосильна тебе, ответственность есть очень легкое. Надо передать большую часть власти, которую ты не в силах прилагать, народу, его представителям, и оставить себе только ту высшую власть, которая дает общее направление делам.

Не успела договорить своей речи царица, как старый придворный поторопился горячо возражать ей, и начался учтивый, но горячий спор.

Молодой царь сначала слушал их, но потом перестал слышать то, что они говорили, и внимал только одному голосу того самого спутника, в его сне, который внятно заговорил теперь в его сердце.

— Ты не только царь, — говорил этот голос, — ты гораздо больше царя, ты человек, то есть существо, нынче пришедшее в этот мир и завтра могущее исчезнуть. Кроме тех обязанностей твоих царских, о которых вот они говорят теперь, у тебя есть более прямые и ничем не могущие быть отмененными обязанности человеческие, обязанности не царя перед подданными (это случайная обязанность), а обязанности вечные, обязанность человека перед Богом, обязанность перед своей душой, спасением ее и служением Богу, установлением в мире его царства... Ты не можешь действовать по тому, что было и что будет, а только по тому, что ты должен делать.

.....

И он проснулся. Жена будила его.

Какой из тех трех путей избрал молодой царь, будет рассказано через пятьдесят лет.
1894 г.

*ФРАГМЕНТ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ Л. ТОЛСТЫМ
В РАССКАЗ "МОЛОДОЙ ЦАРЬ"*

Долго ли коротко ли он был в этом положении, царь не мог сообразить, но когда он очнулся, он увидал себя в каком-то странном месте. Первое и главное впечатление этого места был ужасный удушливый запах человеческой мочи и испражнений, приправленный карболовой кислотой. Место, где он находился, был широкий коридор, освещенный красным светом двух дурно горящих ламп. По одну сторону коридора была глухая стена с окнами, заделанными железными решетками. По другую сторону были запертые двери, запертые замками. В коридоре дремал, прислонившись к стене, солдат. За дверьми слышалось сдержанное движение жизни не одного, а многих людей. Он был тут же подле и своей нежной рукой слегка нажал на плечо молодого царя, толкая вперед мимо вахтера к первой запертой двери. Молодой царь чувствовал, что он не может не повиноваться и

приблизился к двери. К удивлению его вахтер смотрел прямо на него и, очевидно, не видел его, потому что не только не вытянулся и не поздоровался, но громко зевнул и закинув руки стал чесать себе затылок. В двери было маленькое отверстие и, следуя давлению его руки, направившей его к этому отверстию, молодой царь подошел к окну и приложил к нему глаз. Тяжелый мучительный запах был еще сильнее у двери, и молодой царь не решался придвинуться ближе, но рука продолжала давить. Он немного пригнулся, приставил глаз к отверстию и вдруг перестал чувствовать запах. То, что передало ему чувство зрения, заглушило в нем впечатление обоняния. В большой, аршин 10 в длину и аршин 6 в ширину, комнате, не переставая взад и вперед ходили человек 6 людей в серых халатах, мягких котах и босиком. Людей всех в этой комнате было много, более 20-ти, но в первую минуту молодой царь увидал только этих ходящих быстрыми, ровными, неслышными, легкими шагами. Ужасно странно и страшно даже было это непрерывное, быстрое, бесцельное движение этих людей, минующих, догоняющих друг друга, быстро поворачивающихся у стены и не глядящих друг на друга, а очевидно сосредоточенных каждый в своих отдельных мыслях. Точно такого же, как эти люди, видел молодой царь — он помнил — тигра в зверинце, который неслышными шагами быстро-быстро ходил из одного угла

клетки в другой и, чуть пошевеливая длинным хвостом, неслышно заворачиваясь и ни на кого не глядя. Один из этих людей, был, очевидно, крестьянин, молодой, кудрявый, красивый, если бы не неестественная белизна лица и сосредоточенное недоброе, нечеловеческое выражение глаз; другой был еврей, короткий, волосатый и мрачный, третий был сухой старик с лысиной во всю голову, и с прежде бритой и отросшей щетинистой бородой; четвертый был необыкновенно широкий, мускулистый человек с низким выпуклым лбом и приплюснутым носом; пятый почти мальчик, худой, длинный, очевидно, чахоточный; шестой маленький, черненький, болезненный, дергающийся и ходящий вприпрыжку и что-то не переставая бормочущий. Все они не переставая мелькали перед отверстием, в которое смотрел молодой царь, и он почему-то с страстным любопытством вглядывался в них, изучая их лица, походки. Но когда он пригляделся к ним, он из-за них разобрал в глубине комнаты на нарах и подле них еще другие лица; разобрал и тотчас же у двери стоявшую посуду, которая распространяла ужаснейший запах. В глубине комнаты на нарах спало человек десять, накрытые с головами халатами. Один рыжий с большой бородой человек сидел боком на нарах и, сняв рубаху, рассматривал ее на свет и очевидно ловил на ней вшей; еще один, старик, белый, как лунь, стоял в профиль и молился, крестясь

и кланяясь и очевидно не видя никого вокруг себя и весь поглощенный своей молитвой. ”Да это острог, — подумал молодой царь. — Жалко их, страшно их положение, но что же делать — они заслужили это.”

Но не успел он подумать этого, как неслышный голос *того, кто* водил его, ответил ему на его мысли: ”Все они сидят здесь по твоему указу, всем им объявляли приговор твоим именем, но не только не все они заслужили по вашим человеческим суждениям то положение, в котором они находятся, но большая половина их много правее тебя и тех, которые присуждали их и содержат их в их положении. Этот, — он указал на красивого кудрявого малого, — он убийца. Я не скажу, чтоб он был больше виноват, чем те, которые убивают на войне и на дуэли и которых не наказывают, а награждают. Он не только не имел руководителя, но воспитался в среде воров и пьяниц и потому винить его трудно; но он все-таки убийца и он виноват. Он убил купца, чтобы ограбить его. Другой, еврей — вор и участник воровской шайки. Тот силач — конокрад и тоже виноват, хоть в сравнении с другими...”

БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ

17 января нынешнего 1895 г. русские представители дворянства и земства всех 70 с чем-то губерний и областей России собрались в Петербурге для поздравления нового, вступившего на место своего умершего отца, молодого русского императора.

За несколько месяцев до выезда представителей во всех губерниях России в продолжение нескольких месяцев шли усиленные работы приготовлений для этого поздравления: собирались экстренные собрания, предлагали, избирали, интриговали; придумывали форму верно-подданнических адресов, спорили, придумывали подарки для подношения, опять спорили, собирали деньги, заказывали, избирали счастливых, которые должны были ехать и иметь счастье лично передать адреса и подарки; и, наконец, люди ехали иногда по несколько тысяч верст со всех концов России с подарками, но-

выми мундирами, заготовленными речами и радостными ожиданиями увидеть царя, царицу и говорить с ними.

И вот все приехали, собрались, доложились, явились к министрам тому и другому, подверглись всем мытарствам, через которые проводили их, наконец дождались торжественного дня и явились во дворец с своими подарками. Разные курьеры, гофмейстеры, фурьеры, церемониймейстеры, камер-лакеи, адъютанты и т.п. захватили их, водили, проводили, устанавливали, и, наконец, наступила торжественная минута, и все эти сотни, большей частью старые, семейные, седые, почитаемые в своей среде люди замерли в ожидании.

И вот отворилась дверь, вошел маленький, молодой человек в мундире и начал говорить, глядя в шапку, которую он держал перед собой и в которой у него была написана та речь, которую он хотел сказать. Речь заключалась в следующем.

”Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, по-

свящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель”.

Когда молодой царь дошел до того места речи, в котором он хотел выразить мысль о том, что он желает делать все по-своему и не хочет, чтобы никто не только не руководил им, но даже не давал советов, чувствуя, вероятно, в глубине души, что и мысль эта дурная и что форма, в которой она выражена, неприлична, он смешался и, чтобы скрыть свой конфуз, стал кричать визгливым, озлобленным голосом.

Что же такое было? За что такое оскорбление всех этих добродушных людей?

А было то, что в нескольких губерниях: Тверской, главное Тверской, Тульской, Уфимской, еще какой-то земцы в своих адресах, исполненных всякой бессмысленной лжи и лести, намекали в самых темных и неопределенных словах о том, что хорошо бы земству быть тем, чем оно по своему смыслу должно быть и для чего оно было учреждено, т.е. чтобы иметь право доводить до сведения царя о своих нуждах. На эти-то намеки старых, умных, опытных людей, желавших сделать для царя возможным какое-нибудь разумное управление государством, потому что, не зная, как живут люди, что им нужно, нельзя управлять людьми — на эти-то слова молодой царь, ничего не понимающий ни в управ-

лении, ни в жизни, ответил, что это — бессмысленные мечтания.

Когда речь кончилась, наступило молчание. Но придворные прервали его криками "ура", и почти все присутствующие закричали тоже "ура".

После этого все представители поехали в собор и там служили молебен благодарственный. Некоторые из бывших тут говорят, что они не кричали "ура" и не ездили в собор; но если и были таковые, то их было мало, и не кричавшие "ура" и не ездившие в собор не заявили этого публично; так что не несправедливо сказать, что все или огромное большинство представителей радостно приветствовали ругательную речь царя и ездили в собор служить благодарственный молебен за то, что царь удостоил их за их поздравления и подарки назвать глупыми мальчишками.

Неприличное поведение молодого царя перед представителями было так необычно, так вне всяких не только придворных приемов, но и всяких простых человеческих приемов порядочности и учтивости, что тотчас же после этого дня стало сильнее и сильнее распространяться в обществе всеобщее недовольство и неодобрение поступка царя. Все самые смирные, самые великие охотники до подлости и лести перед царями были возмущены и явно выражали свое неудовольствие на поступок царя и осуждали

его. Никогда еще я за всю мою 50-летнюю сознательную жизнь не видал в обществе такого единодушного неодобрения и даже негодования. Люди сходились и говорили друг другу, вроде как говорили "Христос воскрес!", только в обратном, не радостном духе. Говорили: "Что? Как-ково! Да, бессмысленные мечтания! Да, пощечина всем!" и т. п.

Все, очевидно, были удивлены. Как бывают удивлены люди, когда они увидят непредвиденные ими последствия своих поступков; как бывает удивлен человек, когда он не останавливаясь шел вперед по болоту и вдруг почувствовал себя по пояс в воде и тине, из которых не знает, как выбраться.

И так же, как бывает с человеком, попавшим в воду, что удивление продолжается не долго, а человек свыкается с своим положением — так это удивление и негодование русского общества на дерзость и оскорбление его, нанесенное молодым царем, прошло очень скоро.

Прошло 4 месяца, и ни царь не нашел нужным отречься от своих слов, ни общество не выразило своего осуждения его поступка (кроме одного *анонимного* письма). И как будто всеми решено, что так и должно быть. И депутации продолжают ездить и подличать, и царь так же принимает их подлости, как должное. Мало того, что все вошло в прежнее положение, все вступило в положение гораздо худшее, чем прежде.

Необдуманый, дерзкий, мальчишеский поступок молодого царя стал совершившимся фактом; общество, все русское общество проглотило оскорбление, и оскорбивший получил право думать (если он и не думает, то чувствует), что общество этого самого и стоит, что так и надо с ним обращаться, и теперь он может попробовать еще высшую меру дерзости и оскорбления и унижения общества.

Эпизод 17-го января был одним из тех моментов, когда две стороны, вступающие в борьбу между собою, примеряются друг к другу и между ними устанавливаются новые отношения.

Сильный рабочий человек встречается в дверях слабого мальчишку, барчука. Каждый имеет такое же право пройти первым, но вот нахальный мальчишка, барчук, отталкивает в грудь входящего рабочего и дерзко кричит: "Долой с дороги, дрянь этакая!"

Момент этот решающий: отведет ли рабочий спокойно руку мальчика, пройдет впереди его и тихо скажет: "Нехорошо так, миленький, делать, я постарше тебя, и ты вперед так не делай". Или покорится, уступит дорогу и снимет шапку и извинится.

От этого момента зависят дальнейшие отношения этих людей и нравственное душевное состояние их. В первом случае мальчик опомнится, станет умнее и добрее, а рабочий свободнее и мужественнее; во втором случае на-

хальный мальчик делается еще нахальнее и рабочий еще покорнее.

То же столкновение произошло между русским обществом и царем, и благодаря своей недобдуманности молодой царь сделал ход, оказавшийся очень выгодным для него и невыгодным для русского общества. Русское общество проглотило оскорбление, и столкновение разрешилось в пользу царя. Теперь он должен стать еще дерзновеннее и будет совершенно прав, если он еще больше будет презирать русское общество; русское же общество, сделав этот шаг, неизбежно сделает и следующие шаги в том же направлении и станет еще покорнее и подлее. Так оно и сделалось. Прошло 4 месяца, и не только не появилось протеста, но все с великим усердием готовятся к приему царя в Москве, к коронации и новым подаркам икон и всяких глупостей, и в газетах восхваляли мужество царя, отстоявшего святыню русского народа — самодержавие. Нашелся даже такой сочинитель, который упрекает царя за то, что он слишком мягко отозвался на неслыханную дерзость людей, решившихся намекнуть на то, что для того, чтобы управлять людьми, надо знать, как они живут и что им нужно; и что надо было сказать: не "бесмысленные мечтания", а надо было разразиться громом на тех, которые посмели посягнуть на самодержавие — святыню русского народа.

В газетах иностранных ("Times", "Daily News" и др.) были статьи о том, что для всякого другого народа, кроме русского, такая речь государя была бы оскорбительна, но нам, англичанам, судить об этом с своей точки зрения нельзя: русские любят это и им нужно это.

Такие статьи пропускались и перепечатывались, такие же статьи, в которых говорилось о неприличии и глупости сказанных слов, не пропускались.

Прошло 4 месяца, и в известных, так называемых высших кругах русского общества установилось мнение, что молодой царь поступил прекрасно, так, как должно было поступить. "Молодец Ники, — говорят про него его бесчисленные кузены, — молодец Ники, так их и надо".

И течение жизни и управление пошло не только по-старому, но хуже, чем по-старому: те же бессмысленные жестокие гонения евреев, сектантов; те же ссылки без суда; те же отнятия детей у родителей; те же виселицы, каторги, казни; та же нелепая до комизма цензура, запрещающая все, что вздумается цензору или его начальству; те же одурение и развращение народа.

Просвещение, освещая сознание людей, идет вперед, нельзя остановить его, а формы жизни у нас в России идут назад, и трудно себе представить, как и чем можно изменить их.

Положение дел ведь такое: существует огромное государство с населением свыше 100 миллионов людей, и государство это управляемо одним человеком. И человек этот назначается случайно, не то что избирается из самых лучших и опытных людей наиболее опытный и способный управлять, а назначается тот, который прежде родился от того человека, который прежде управлял государством. А так как тот, который прежде управлял государством, тоже назначался случайно по первородству, точно так же, как и его предшественник, — и только родоначальник их всех был властителем, потому что достиг власти или избранием, или выдающимися дарованиями, или, как это бывало большей частью, тем, что не останавливался ни перед какими обманами и злодеяниями, — то выходит, что становится управителем 100-миллионного народа не человек, способный к этому, а внук и потомок того человека, который выдающимися способностями или злодеяниями или и тем и другим вместе, как это чаще всего бывало, достиг власти, — хотя бы этот потомок не имел ни малейших способностей управлять, а был бы самым глупым и дрянным человеком. Положение это, если прямо посмотреть на него, представляется действительно бессмысленным мечтанием.

Ни один разумный человек не сядет в экипаж, если не знает, что кучер умеет править, и в поезд железной дороги, если машинист не умеет ез-

дить, и если этот кучер или машинист только сын кучера или машиниста, который когда-то, по мнению некоторых, умел ездить; и тем менее не поедет в море на пароходе с капитаном, права которого на управление кораблем состоят только в том, что он — внучатый племянник человека, который когда-то управлял кораблем. Ни один разумный человек не вверит себя и свою семью в руки таких кучеров, машинистов, капитанов, а все мы живем в государстве, которое управляется, и неограниченно, такими сыновьями и внучатыми племянниками не только не хороших правителей, но на деле показавших свою неспособность к управлению людей. Положение это действительно совершенно бессмысленно и может быть оправдываемо только тем, что было время, когда люди верили, что эти властители суть какие-то особенные, сверхъестественные или избранные Богом помазанные существа, которым нельзя не повиноваться. Но в наше время, — когда никто уже не верит в сверхъестественное призвание этих людей к власти, никто не верит в святость помазанника и наследственности, когда история уже показала людям, как свергали, прогоняли, казнили этих помазанников, — положение это не имеет никаких оправданий, кроме того, что если предполагать, что верховная власть необходима, то наследственность такой власти избавляет государство от интриг, смут, междоусобий даже, которые неизбеж-

ны при другом роде избрания верховного властителя, и что смуты и интриги обойдутся народу дороже и тяжелее, чем неспособность, развращенность, жестокость управителей по наследству, если неспособность их будет восполняться участием представителей народа, а развращенность и жестокость их будет держаться в пределах ограничениями, поставленными их власти.

И вот на желания этих-то самых — нераздельных с наследственностью власти — участия в делах правительства и ограничения власти (хотя эти желания и были скрыты под толстым слоем самой грубой лести), на эти-то желания молодой царь с решительностью и дерзостью ответил: "Не хочу, не позволю. Я сам".

Эпизод 17-го января напоминает то, что часто случается с детьми. Ребенок начинает делать какое-нибудь непосильное ему дело. Старшие хотят помочь ему, сделать за него то, что он не в силах сделать, но ребенок капризничает, кричит визгливым голосом: "Я сам, сам", — и начинает делать; и тогда, если никто не помогает ему, то очень скоро ребенок образумливается, потому что или обжигается, или падает в воду, или расшибает себе нос и начинает плакать. И такое предоставление ребенку делать самому то, что он хочет делать, бывает если не опасно, то поучительно для него. Но беда в том, что при ребенке таком всегда бывают льстивые няньки,

прислужницы, которые водят руками ребенка и делают за него то, что он хочет сам сделать, и он радуется, воображая, что он сделал сам, — и сам не научается, и другим часто делает вред.

То же бывает и с правителями. Если бы они действительно управляли сами, то управление их продолжалось бы недолго, они сейчас же бы наделали таких явных глупостей, что погубили бы других и себя, и царство их тотчас кончилось бы, что и было бы очень полезно для всех. Но беда в том, что как у капризных детей есть няньки, делающие за них то, что они воображают сами делать, так и у царей всегда есть такие няньки — министры, начальники, дорожающие своими местами и властью, и знающие, что они пользуются ими только до тех пор, пока царь считается неограниченным.

Считается и предполагается, что правит делами государства царь; но ведь это только считается и предполагается: править делами государства один царь не может, потому что дела эти слишком сложны, он может только сделать все то, что ему вздумается по отношению тех дел, которые дойдут до него, и может назначать себе помощниками тех, кого ему вздумается; а править делами он не может потому, что это совершенно невозможно для одного человека. Правят действительно: министры, члены разных советов, директора и всякого рода начальники. Попадают же в эти министры и начальники люди

никак не по достоинствам, а по протекции, интригам, большей частью женским, по связям, родству, угодливости и случайности. Лъстецы и лгуны, пишущие статьи о святине самодержавия, о том, что эта форма (форма самая древняя, бывшая у всех народов) есть особенное священное достояние русского народа и что править народом царь должен неограниченно, к сожалению, не объясняют, как должно действовать самодержавие, как именно должен и может править царь сам, один своим народом. В прежнее время, когда славянофилы проповедовали самодержавие, то они проповедовали его нераздельно с земским собором, и тогда, как ни наивны были мечтания славянофилов (сделавшие много зла), понятно было, как должен был управлять самодержавный царь, узнававший от соборов нужды и волю народа. Но как может управлять теперь царь без соборов? Как коканский хан? Да это нельзя, потому что в коканском ханстве все дела можно было рассмотреть в одно утро, а в России в наше время для того, чтобы управлять государством, нужны десять тысяч ежедневных решений. Кто же поставляет эти решения? Чиновники. Кто же эти чиновники? Это люди, для достижения своих личных целей пролезающие во власть и руководимые только тем, чтобы им получать побольше денег. В последнее время люди эти до такой степени у нас в России пали в нравственном и умственном значении, что, ес-

ли они прямо не воруют, как воровали те, которых обличили и прогнали, — они даже не умеют притворяться, что преследуют какие-нибудь общие государственные интересы, они только стараются как можно дольше получать свои жалованья, квартирные, разъездные. Так что управляет государством не самодержавная власть, — какое-то особенное, священное лицо, мудрое, неподкупное, почитаемое народом, — а управляет в действительности стая жадных, пронырливых, безнравственных чиновников, пристроившихся к молодому, ничего не понимающему и не могущему понимать молодому мальчику, которому наговорили, что он может прекрасно управлять *сам один*. И он смело отклоняет всякое участие в управлении представителей народа и говорит: "Нет, я сам".

Так что выходит, что управляемы мы не только не волей народа, не только не самодержавным царем, стоящим выше всех интриг и личных желаний, как хотят представить нам царя настоящие славянофилы, — но управляемы мы несколькими десятками самых безнравственных, хитрых, корыстных людей, не имеющих за собой ни, как прежде, родовитости, ни даже образования и ума, как тому свидетельствуют Дурново, Кривошеины, Деяновы и т.п., а управляемы теми, которые одарены теми способностями посредственности и низости, при которых только, как это верно определил Бо-

марше, можно достигнуть высших мест власти: *Médiocre et rampant, et on parvient à tout*¹. Можно подчиняться и повиноваться одному человеку, поставленному своим рождением в особенное положение, но оскорбительно и унижительно повиноваться и подчиняться людям, нашим сверстникам, на наших глазах разными подлостями и гадостями вылезшим на высшие места и захватившим власть. Можно было скрепя сердце подчиняться Иоанну Грозному и Петру Третьему, но подчиняться и исполнять волю Малюты Скуратова и немецких капралов, любимцев Петра III — обидно.

В делах, нарушающих волю Бога, — в делах, противных этой воле, я не могу подчиняться и повиноваться никому; но в делах, не нарушающих волю Бога, я готов подчиняться и повиноваться царю, какой бы он ни был. Он не сам стал на свое место. Его поставили на это место законы страны, составленные или одобренные нашими предками. Но зачем же я буду подчиняться людям, заведомо подлым или глупым, или то и другое вместе, которые 30-летней подлостью пролезли во власть и предписывают мне законы и образ действий? Мне говорят, что по высочайшему повелению мне предписано не издавать таких-то сочинений, не собираться на

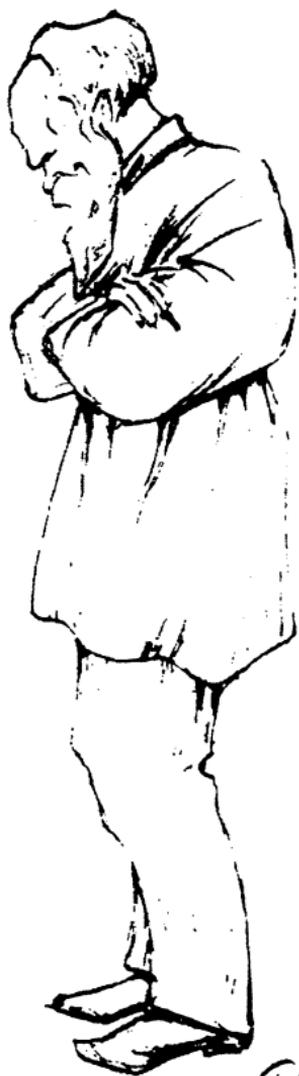
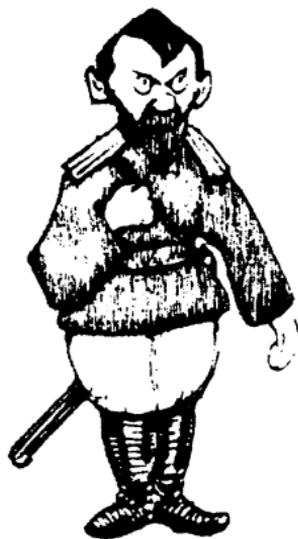
¹ Будь посредственным и раболепным и достигнешь всего (*франц.*).

молитву, не учить моих детей, как я считаю хорошим, а по таким-то началам и книгам, которые определяет г-н Победоносцев; мне говорят, что по высочайшему повелению я должен отдавать подати на постройку броненосцев, должен отдать своих детей или имение тому и тому-то, или самому перестать жить, где я хочу, а жить в назначенном мне месте. Все это еще можно бы было перенести, если бы это точно было повеление царя; но ведь я знаю, что высочайшее повеление тут только слова, что делается это вовсе не тем царем, который номинально управляет нами, а делается это Победоносцевым, Рихтером, Муравьевым и т.п., которых прошедшее я знаю давно, и так знаю, что я не желаю иметь с ними ничего общего. И этим-то людям я должен повиноваться и отдать им все, что есть у меня дорогого в жизни.

Но и это бы можно было перенести, если бы дело шло только об унижении своем. Но, к сожалению, дело не в одном этом. Царствовать и управлять народом нельзя без того, чтобы не развращать, не одурять народ и не развращать и не одурять его тем в большей степени, чем несовершеннее образ правления, чем меньше управители выражают собою волю народа. А так как у нас самое бессмысленное и далекое от выражения воли народа правление, то при нашем управлении необходимо

самое большое напряжение деятельности для одурения и развращения народа. И вот это одурение и развращение народа, совершающееся в таких огромных размерах в России, и не должны переносить люди, видящие средства этого одурения и развращения и последствия его.

Эта карикатура перепечатана в альбоме 1908...
по поводу неучастия Толстого в деле
Литвацкого в монастыре.
(Нумерация 5 числа 1908 г. в издании
"The Manchester Guardian")



-Ужэ ф. ёъ тебѣ задалъ..... не будь ты такой большой!..

ТОЛСТОЙ И НИКОЛАЙ II
Карикатура неизвестного художника.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II

1897 г. Мая 10. Ясная Поляна.

Государь!

Читая это письмо, я очень просил бы Вас забыть про то, что Вы, может быть, слышали про меня, и, оставивши всякое предубеждение, видеть в этом письме только одно выражение желания добра безвинно страдающим людям и еще более сильное желание добра Вам, тому человеку, которого так естественно, хотя и несправедливо, обвиняют в этих страданиях.

Месяц тому назад, 6-го апреля, в Землянке, Бузулукского уезда, в дом крестьянина Чипелева, молоканина по вере, в 2 часа ночи вошел урядник с полицейскими и велел будить детей с тем, чтобы увезти их от родителей. Ничего не понимающих, испуганных мальчиков — одного 13-ти лет, другого 11-ти лет, одели и вывели на двор. Но когда урядник хотел взять 2-хлетнюю девочку, мать схватила дочь и не хотела отдать ее. Тогда урядник сказал, что велит связать мать,

если она не пустит дочь. Отец уговорил жену отдать ребенка, потребовал от урядника расписку, в которой было бы объяснено, по чьему распоряжению взяты дети.

Вот эта расписка:

”1897 года, апреля 6-го дня, во исполнение предписания Е. В. Б. Господина Бузулукского уездного исправника от 3-го сего апреля за № 2312, полицейский служитель Бузулукской команды Захар Петров от кр-а села Бобровки Всеволода Чипелева, проживающего в селе Алексеевке, трех детей: Ивана, Василья, и Марью сего числа для представления Господину Исправнику взяты.

Полицейский урядник 5 участка П...

Полицейский П...”

Через несколько дней после этого, в другой деревне — Антоновке, того же уезда, также ночью, в дом крестьянина Болотина, тоже молочанина, также пришли урядник с полицейскими и велели собирать в дорогу двух девочек — одну 12-ти, другую 10-ти лет. Хотя Болотин и слышал прежде этого от священника и пристава угрозы, что если он не обратится в православие, которое он оставил уже 13 лет тому назад, то у него отберут детей, он все-таки не мог поверить, чтобы такая странная мера была принята против него по распоряжению высшего начальства, и не дал детей.

Но на другой день явился пристав с уряд-

ником и полицейскими, и девочек взяли и увезли.

То же самое и в ту же ночь произошло в семье крестьянина той же деревни Самошкина. У него отняли единственного пятилетнего сына. Мальчик этот составлял радость и надежду семьи, так как после многих лет это был единственный сын, оставшийся в живых. Когда брали этого ребенка, он был болен и в жару. На дворе было свежо. Мать упрашивала оставить его на время. Но пристав не согласился и сообразно с мнением доктора, решившего, что для жизни ребенка нет опасности в переезде, велел уряднику взять ребенка и везти его, но мать упросила пристава позволить ей самой ехать с сыном до города. Это было позволено, и она проводила его до города Бузулука. В городе же мальчика отняли от матери, и она больше уже не видала его. На все прошения, которые подавали эти крестьяне, они не получили ответа и не знают, где их дети.

Ведь это невероятно!

А между тем все это совершенная правда.

Но что хуже всего, это то, что это не единственный пример, а один из тысяч и тысяч таких же и еще более жестоких дел, совершаемых по всей России над людьми, виновными только в том, что они исповедуют ту веру, которую считают Божеской истиной.

Доказательства того, что описанное мною есть не единственный случай, а один из тысячи

совершаемых таких же дел в России, я мог бы представить самые убедительные, если бы это было Вам угодно.

Впрочем, чтобы убедиться, правда ли это, правда ли то, что тысячи и тысячи русских людей не только разоряются, изгоняются из родины и ссылаются в дальние страны, разлучаются с детьми и томятся в острогах, монастырях и домах умалишенных, но часто прямо самым страшным образом истязаются грубым сельским начальством, считающим для себя все позволительным по отношению к врагам православия — Вам стоит только послать беспристрастного, правдивого человека на место изгнания гонимых за веру — в Сибирь, на Кавказ, Олонецкий край и по местам заключения, и из донесения этого человека Вы сами увидали бы те страшные дела, которые совершаются Вашим именем.

Говорят, что это делается для поддержания православия, но величайший враг православия не мог бы придумать более верного средства для отвращения от него людей, как эти ссылки, тюрьмы, разлуки детей с родителями.

Я знаю, что есть люди, которые имеют смелость утверждать, что в России существует веротерпимость, и даже большая, чем в других странах, что эти ссылки, разорения, тюрьмы, разлуки детей с родителями суть только меры противодействия совращению, а не гонения. Но ведь все это неправда, что очень хорошо знают

и те, которые утверждают это. В России не только нет веротерпимости, но существует самое ужасное, грубое преследование за веру, подобного которому нет ни в какой стране не только христианской, но даже магометанской.

Государь! Люди, которые стараются удержать Вас на ложном пути преследований за веру, — люди старые, которые не могут изменить своих раз укоренившихся взглядов, не могут освободиться от наложенных ими на самих себя цепей прежних ошибок и невольно упорствуют в них, надеясь этим упорством оправдать себя.

Но эти люди кончают жить, и место их в памяти людей уже твердо определено их делами; но у Вас вся жизнь впереди, Вам предстоит еще занять соответственное Вашим делам место в памяти людей. Вы ничем не связаны, Вы не только признаете необходимость веротерпимости, но во всех делах воодушевлены самым добрым чувством.

Так сделайте же усилие, Государь, отстраните от себя хоть на время тех, не скажу злых, но заблудших людей, которые вводят Вас в обман о том, что гонениями можно, будто бы, поддержать веру гонителей и ослабить веру гонимых, и сами своим добрым сердцем и прямым умом решите, как и чем надо поддержать ту веру, которую считаешь истинной, и как и чем бороться с теми учениями, которые считаешь не истинными.

Государь, ради Бога сделайте это усилие и, не откладывая и не передавая это комиссиям и комитетам, сами, не подчиняясь советам других людей, а руководя ими, настойте на том, чтобы действительно были прекращены позорящие Россию гонения за веру, т.е. чтобы отпущены были изгнанные, освобождены заключенные, возвращены дети родителям и, главное, отменены те запутанные и произвольно толкуемые законы и административные правила, на основании которых делаются эти беззакония.

Воспользуйтесь случаем сделать то доброе дело, которое Вы одни можете сделать и которое, очевидно, предназначено Вам.

Случаи эти не всегда представляются и не возвращаются, когда пропущена возможность воспользоваться ими.

Сделав это дело, Вы не только сделаете одно из тех добрых дел, которое предоставлено делать только Государям, и займете высокое место в истории и памяти народа, но, что важнее всего, Вы получите внутреннее удовлетворение сознания исполненной воли Бога и предназначенного Вам Богом дела.

Простите, если чем-нибудь неприятно подействовал на Вас в этом письме. Повторяю, что побудило меня писать только желание добра Вам, именем которого налагаются на невинных людей эти страдания.

Лев Толстой.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II

1897 г. Сентября 19. Ясная Поляна.

Ваше Императорское Величество!

Простите меня, если письмо мое будет неприятно Вам, но я вынужден писать Вам и по тому же делу, по которому писал уже в мае.

С тех пор прошло четыре месяца, но несмотря на все ходатайства родителей, у которых отобраны дети, так же, как и на мое письмо к Вам, дети не отданы родителям. И вот один из этих родителей по поручению своих сотоварищей приехал ко мне, прося помочь его горю.

Нет никакого сомнения в том, что дети отняты от родителей, и отняты так, что никак нельзя придумать какого-либо разумного или законного основания, по которому это сделано, так как в тех же селениях находятся десятки молокан, у которых при тех же самых условиях дети не отняты. (Есть крещеные дети, которые не отняты; в числе же отнятых есть и некрещеные). Нет сомнения также и в том, что такая мера, как отня-

тие детей у сектантов, как это высказано в газете "Гражданин" по случаю предложения этой меры на Казанском миссионерском съезде, была бы противна воле Государя и немислима в русском государстве. А между тем дети молокан похищены из домов их родителей, заперты в монастыри, и вот уже 4 месяца матери оплакивают своих детей, а отцы тщетно подают во все ведомства прошения о возвращении им их детей, и дело, возмущающее все население, продолжает совершаться, несмотря на то, что Вашему Величеству событие это было сообщено четыре месяца тому назад.

Что же это значит? Объяснение этому есть только одно: то, что Ваше Величество жестоко обмануто, что дела представляются Вам в извращенном виде, и скрывается от Вас то, что делается Вашим именем.

И потому вновь умоляю Ваше Величество сделать усилие и разрушить тот обман, которым Вы окружены.

Настоящее дело представляет поразительный образец тех позорящих русское правительство деяний, совершаемых для мнимого поддержания православия, и той лжи, при которой Вам представляются такие дела. Для исследования же этого дела есть самый простой и легкий способ. Один из родителей отнятых детей теперь в Петербурге. Он все подробно расскажет; чиновники же, участвовавшие в

отнятии, должны будут объяснить свои поступки.

Еще раз прошу Ваше Величество простить меня, если письмо мое будет Вам неприятно, приняв во внимание то, что я не мог поступить иначе, и еще то, что главная причина, заставившая меня обратиться к Вам, заключается в уважении к личности Вашего Величества и в искреннем желании Вам добра.

С совершенным уважением имею честь быть
Ваш покорный слуга

Лев Толстой.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II

1900 г. Декабря 7. Москва.

Ваше Императорское Величество!

Прилагаемое письмо, полученное мною из Канады, так коротко, трогательно, красноречиво своей простотой и вместе с тем касается такого важного предмета, что я очень прошу Вас прочесть его самим и одним и отдаться тем добрым чувствам, которые письмо это наверное вызовет в Вашем добром сердце.

Девять молодых женщин, живущих на свободе и в достатке, и две старые матери, как особенной милости, просят о том, чтобы им дана была возможность из свободной и обеспеченной жизни переехать в самое ужасное место изгнания и самые тяжелые условия. Какие должны быть нравственные и сильные люди эти мужья и жены, если, после всех тех страданий, которым они подверглись, они думают не о себе, а друг о друге и о том, чтобы быть верными брачному закону. И как много люди эти должны были

перестрадать друг за друга в этой шестилетней разлуке.

Но страдают так не одни эти люди: десятки, если не сотни тысяч лучших русских людей страдают так же — и еще хуже — от религиозных гонений, которые по какому-то удивительному недоразумению продолжают существовать и в последнее время даже усиливаются в России, тогда как уже давно всеми просвещенными людьми и правительствами признана нелепость, жестокая несправедливость и, главное, бесцельность таких гонений.

Я давно уже собирался сказать Вам про те ужасные и бессмысленные жестокости, которые, под видом защиты государственной религии, творятся Вашим именем. Мои преклонные года и близость смерти побуждают меня не откладывать далее. Тысячи и тысячи истинно религиозных и потому самых лучших людей, составляющих силу всякого народа, уже погибли или теперь погибают в тюрьмах, в тяжком изгнании, или выслались и высылаются из России. Цвет населения не только Кавказа, но России, 800 духоборов бросили навсегда свое отечество и не только не сожалеют о нем, но с отвращением и ужасом вспоминают о нем, благодаря тем жестокостям, которым они подвергались в нем. Несколько тысяч молокан из Каррской области и из Эриванской (прошение которых о выселении из России я доставил Вам), молокане из Ташкента,

десятки тысяч людей из Харьковской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской губерний, притесняемые за веру, только одного просят: чтобы им дана была возможность покинуть свое отечество и уйти туда, где они бы могли беспрепятственно исповедывать Бога так, как они понимают Его, а не так, как этого требует начальство, большей частью не признающее никакого Бога.

Зная, что все это делается Вашим именем (а Вы не можете не знать этого; если же не знаете, то поручите исследовать это правдивому человеку, и он подтвердит Вам мои слова), и зная то, что Вы можете прекратить это, Вы не найдете душевного спокойствия, пока не прекратите этого.

Ваши советчики, те самые люди, которые устроили эти гонения и руководят ими, скажут Вам, что уничтожить этого нельзя, что я утопист, анархист, безбожник, и меня не надо слушать. Но Вы не верьте им. То, что я говорю, я говорю не с своей точки зрения, а становлюсь на точку зрения разумного и просвещенного правительства. А с этой точки зрения уже давным-давно доказано, что всякие религиозные гонения, кроме того, что роняют престиж правительства, лишают правителей любви народа, не только не достигают той цели, для которой учреждаются, но производят обратное действие.

И потому уже давным-давно пора: во-первых, пересмотреть и уничтожить существующие теперь законы о гонениях за веру; во-вторых, прекратить все преследования за отступления от принятого государством исповедания; в-третьих, освободить всех на основании прежних законов заключенных и изгнанных за преступления против веры; и в-четвертых, не казнить, как преступление, несогласие религиозной совести с требованиями государства, а стараться примирить это противоречие, как оно примиряется на суде, при отказе от присяги, обещанием говорить правду, или как оно примирялось с менонитами, при отказе их от военной службы, заменой ее обязательными невоенными работами.

Сделав это, Вы не только снимете с себя тяжелую, лежащую на Вас ответственность, но почувствуете радость сознания совершенного доброго дела.

Помоги Вам Бог сделать то, что Ему угодно.
Любящий Вас *Лев Толстой*.

№ 103

ДЕЛО

С. П. Б. Цензурного Комитета.

190 / г.

*По поданному
портретной Грессе
с/у Толстого.*

Началось 23 марта 190 / года.

Окончилось 22 августа 190 / года.

13
на 12 листах

Дело петербургского цензурного комитета
о запрещении портретов Толстого, 1901 г.

Обложка

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II

1902 г. Января 16. Гаспра.

Любезный брат,

Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку — брату. Кроме того еще и потому, что пишу Вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти.

Мне не хотелось умереть, не сказав Вам того, что я думаю о Вашей теперешней деятельности и о том, какую она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и Вам и какое большое зло она может принести людям и Вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь.

Третью Россию находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия полицейских — явных и тайных — все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены, сверх сотен тысяч уголовных, по-

литическими, к которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепостей запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-х годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь, и становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие.

И как результат всей этой напряженной и жестокой деятельности правительства, земледельческий народ — те 100 миллионов, на которых зиждется могущество России, — несмотря на непомерно возрастающий государственный бюджет или, скорее, вследствие этого возрастания, нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением. И таким же явлением стало всеобщее недовольство правительством всех сословий и враждебное отношение к нему.

И причина всего этого, до очевидности ясная, одна: та, что помощники Ваши уверяют Вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и Ваше спокойствие и безопасность. Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное Богом всегдашнее движение вперед человечества. Понятно, что люди, которым

выгоден такой порядок вещей и которые в глубине души своей говорят: "après nous le déluge"¹, могут и должны уверять Вас в этом; но удивительно, как Вы, свободный, ни в чем не нуждающийся человек, и человек разумный и добрый, можете верить им и, следуя их ужасным советам, делать или допускать делать столько зла ради такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества от зла к добру, от мрака к свету.

Ведь Вы не можете не знать того, что с тех пор как нам известна жизнь людей, формы жизни этой, как экономические и общественные, так религиозные и политические, постоянно изменялись, переходя от более грубых, жестоких и неразумных к более мягким, человечным и разумным.

Ваши советники говорят Вам, что это неправда, что русскому народу как было свойственно когда-то православие и самодержавие, так оно свойственно ему и теперь и будет свойственно до конца дней и что поэтому для блага русского народа надо во что бы то ни стало поддерживать эти две связанные между собой формы: религиозного верования и политического устройства. Но ведь это двойная неправда.

Во-первых, никак нельзя сказать, чтобы православие, которое когда-то было свойственно

¹ После нас хоть потоп (*франц. поговорка*).

русскому народу, было свойственно ему и теперь. Из отчетов оберпрокурора Синода Вы можете видеть, что наиболее духовно развитые люди народа, несмотря на все невыгоды и опасности, которым они подвергаются, отступая от православия, с каждым годом все больше и больше переходят в так называемые секты. Во-вторых, если справедливо то, что народу свойственно православие, то незачем так усиленно поддерживать эту форму верования и с такою жестокостью преследовать тех, которые отрицают ее.

Что же касается самодержавия, то оно точно так же если и было свойственно русскому народу, когда народ этот еще верил, что царь — непогрешимый земной Бог и сам один управляет народом, то далеко уже несвойственно ему теперь, когда все знают или, как только немного образуются, узнают — во-первых, то, что хороший царь есть только "un heureux hasard"¹, а что цари могут быть и бывали и изверги и безумцы, как Иоанн IV или Павел, а во-вторых, то, что, какой бы он ни был хороший, никак не может управлять сам 130-миллионным народом, а управляют народом приближенные царя, заботящиеся больше всего о своем положении, а не о благе народа.

Вы скажете: царь может выбирать себе в помощники людей бескорыстных и хороших. К

¹ Счастливая случайность (*франц.*).

несчастью, царь не может этого делать потому, что он знает только несколько десятков людей, случайно или разными происками приблизившихся к нему и старательно загораживающих от него всех тех, которые могли бы заместить их. Так что царь выбирает не из тех тысяч живых, энергичных, истинно просвещенных, честных людей, которые рвутся к общественному делу, а только из тех, про которых говорил Бомарше: "Médiocre et rampant et on parvient à tout" ¹. И если многие русские люди готовы повиноваться царю, они не могут без чувства оскорбления повиноваться людям своего круга, которых они презирают и которые так часто именем царя управляют народом.

Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к самодержавию и его представителю — царю то, что везде при встречах Вас в Москве и других городах толпы народа с криками "ура" бегут за Вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности Вам, — это толпа любопытных, которая побежит точно так же за всяким непривычным зрелищем. Часто же эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к Вам, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный Вам

¹ Будь ничтожен и подобострастен — и всего достигнешь (франц.).

народ, как это, например, было с Вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городских.

Если бы Вы могли, так же как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги, и послушать, что говорят эти крестьяне: старосты, сотские, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду и в слякоти без вознаграждения с своим хлебом по несколько дней дожидаящиеся проезда, Вы бы услышали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно несогласные с любовью к самодержавию и его представителю. Если 50 лет тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним.

Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это

и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.

И таковы были до сих пор дела Вашего царствования. Начиная с Вашего возбудившего негодование всего русского общества ответа тверской депутации, где Вы самые законные желания людей назвали "бессмысленными мечтаниями", — все Ваши распоряжения о Финляндии, о китайских захватах, Ваш проект Гаагской конференции, сопровождаемый усилением войск, Ваше ослабление самоуправления и усиление административного произвола, Ваша поддержка гонений за веру, Ваше согласие на утверждение винной монополии, то есть торговли от правительства ядом, отравляющим народ, и, наконец, Ваше упорство в удержании телесного наказания, несмотря на все представления, которые делаются Вам об отмене этой позорящей русский народ бессмысленной и совершенно бесполезной меры, — все это поступки, которые Вы не могли бы сделать, если бы не задались, по совету Ваших легкомысленных помощников, невозможной целью — не только остановить жизнь народа, но вернуть его к прежнему, пережитому состоянию.

Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять

народом, только в том, чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же, чтобы быть в состоянии сделать это, нужно прежде всего дать народу возможность высказать свои желания и нужды и, выслушав эти желания и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинству его, массы рабочего народа.

И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет дана возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие:

Прежде всего рабочий народ скажет, что желает избавиться от тех исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не пользующегося правами всех остальных граждан; потом скажет, что он хочет свободы передвижения, свободы обучения и свободы исповедания веры, свойственной его духовным потребностям; и, главное, весь 100-миллионный народ в один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности.

И вот это-то уничтожение права земельной собственности и есть, по моему мнению, та ближайшая цель, достижение которой должно следовать в наше время своей задачей русское правительство.

В каждый период жизни человечества есть соответствующая времени ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой он стремится. Пятьдесят лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними, — то, что называется рабочим вопросом.

В Западной Европе достижение этой цели считается возможным через передачу заводов и фабрик в общее пользование рабочих. Верно ли, или неверно такое разрешение вопроса и достижимо ли оно или нет для западных народов, — оно, очевидно, неприменимо к России, какова она теперь.

В России, где огромная часть населения живет на земле и находится в полной зависимости от крупных землевладельцев, освобождение рабочих, очевидно, не может быть достигнуто переходом фабрик и заводов в общее пользование. Для русского народа такое освобождение может быть достигнуто только уничтожением земельной собственности и признанием земли общим достоянием, — тем самым, что уже с давних пор составляет задушевное желание русского народа и осуществление чего он все еще ожидает от русского правительства.

Знаю я, что эти мысли мои будут приняты Вашими советниками как верх легкомыслия и

непрактичности человека, не постигающего всей трудности государственного управления, в особенности же мысль о признании земли общей народной собственностью, но знаю я и то, что для того, чтобы не быть вынужденным совершать все более и более жестокие насилия над народом, есть только одно средство, а именно: сделать своей задачей такую цель, которая стояла бы впереди желаний народа. И, не дожидаясь того, чтобы накатывающийся вал бил по коленкам, — самому везти его, то есть идти в первых рядах осуществления лучших форм жизни. А такой целью может быть для России только уничтожение земельной собственности. Только тогда правительство может, не делая, как теперь, недостойных и вынужденных уступок фабричным рабочим или учащейся молодежи, без страха за свое существование быть руководителем своего народа и действительно управлять им.

Советники Ваши скажут Вам, что освобождение земли от права собственности есть фантазия и неисполнимое дело. По их мнению, заставить 130-миллионный живой народ перестать жить или проявлять признаки жизни и втиснуть его назад в ту скорлупу, из которой он давно вырос, — это не фантазия и не только исполнимо, но самое мудрое и практическое дело. Но ведь стоит только серьезно подумать для того, чтобы понять, что действительно неисполнимо, хотя оно

и делается, и что, напротив, не только исполнимо, но своевременно и необходимо, хотя оно и не начиналось.

Я лично думаю, что в наше время земельная собственность есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какую было крепостное право 50 лет тому назад. Думаю, что уничтожение ее поставит русский народ на высокую степень назависимости, благоденствия и довольства. Думаю тоже, что эта мера, несомненно, уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение, которое теперь разгорается среди рабочих и грозит величайшей опасностью и народу и правительству.

Но я могу ошибаться, и решение этого вопроса в ту или другую сторону может быть дано опять-таки только самим народом, если он будет иметь возможность высказаться.

Так что, во всяком случае, первое дело, которое теперь предстоит правительству, это уничтожение того гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды. Нельзя делать добро человеку, которому мы завяжем рот, чтобы не слышать того, чего он желает для своего блага. Только узнав желания и нужды всего народа или большинства его, можно управлять народом и сделать ему добро.

Любезный брат, у Вас только одна жизнь в этом мире, и Вы можете мучительно потратить

ее на тщетные попытки остановки установленного Богом движения человечества от зла к добру, мрака к свету и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести ее в служении Богу и людям.

Как ни велика Ваша ответственность за те годы Вашего царствования, во время которых Вы можете сделать много доброго и много злого, но еще больше Ваша ответственность перед Богом за Вашу жизнь здесь, от которой зависит Ваша вечная жизнь и которую Бог дал Вам не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять Его волю. Воля же Его в том, чтобы делать не зло, а добро людям.

Подумайте об этом не перед людьми, а перед Богом и сделайте то, что вам скажет Бог, то есть Ваша совесть. И не смущайтесь теми препятствиями, которые Вы встретите, если вступите на новый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и Вы не заметите их, если только то, что Вы будете делать, Вы будете делать не для славы людской, а для своей души, то есть для Бога.

Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил Вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и Вам. Достиг ли я этого —

решит будущее, которого я, по всем вероятностям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом.

Истинно желающий Вам истинного блага
брат Ваш

Лев Толстой.

ЦАРЮ И ЕГО ПОМОЩНИКАМ

ОБРАЩЕНИЕ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обвинения, угрозы и озлобление с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы с другой. Опять все русские люди разделились на два враждебные лагеря и совершают и готовятся совершить величайшие преступления.

Очень может быть, что теперь проявившееся волнение и будет подавлено. Но если теперь оно и будет подавлено, оно не может заглухнуть, а будет все более и более разгораться в скрытом виде и неизбежно рано или поздно проявится с увеличенной силой и произведет еще худшие страдания и преступления.

Зачем это? Зачем это, когда так легко избавиться от этого?

Обращаемся ко всем вам, людям, имеющим власть, от царя, членов государственного совета, министров, до родных — матери, жены, дядей,

братьев и сестер, близких людей царя, могущих влиять на него убеждением. Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям, неразрывно — хотите ли вы этого или нет — связанным с нами так, что всякие страдания, которые мы несем, отзываются и на вас, и еще гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что могли устранить эти страдания и не сделали этого, — сделайте так, чтобы положение это прекратилось.

Вам или большинству из вас кажется, что все происходит оттого, что среди правильного течения жизни являются какие-то беспокойные, недовольные люди, мутящие народ и нарушающие это правильное течение, что виноваты во всем только эти люди, что надо усмирить, обуздать этих беспокойных, недовольных людей, и тогда опять все будет хорошо, и изменять ничего не надо.

Но ведь если бы все дело было в беспокойных и злых людях, то стоило бы только переловить, заключить их в тюрьмы, сослать или казнить, и все волнения окончились бы. Но вот уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, а количество их все увеличивается, и недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа. Ясно, что недовольство происходит не от беспокойных и злых людей, а от чего-то другого. И

стоит только вам, правительственным людям, на минуту отвести внимание от той острой борьбы, которой вы сейчас заняты, — перестать наивно думать то, что выражено в недавнем циркуляре министра внутренних дел — что если полиция будет вовремя разгонять толпу и вовремя стрелять в нее, если она не расходится, то все будет тихо и спокойно, — стоит вам только перестать верить этому, чтобы ясно увидеть ту причину, которая производит неудовольствие в народе и выражается волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры.

Причины в том, что вследствие несчастного, случайного убийства царя, который освободил народ, совершенного небольшой группой людей, ошибочно воображавших, что они этим служат всему народу, правительство решило не только не идти вперед, отрешаясь все более и более от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления, но напротив, вообразив себе, что спасение именно в этих грубых отживших формах, в продолжение 20 лет не только не идет вперед, соответственно общему развитию и усложнению жизни, и даже не стоит на месте, а идет назад, этим обратным движением, все более и более разделяясь с народом и его требованиями.

Так что виноваты не злые, беспокойные люди, а вы сами, правители, не хотящие видеть ничего, кроме своего спокойствия в настоящую

минуту. Дело не в том, чтобы вам сейчас защищаться от врагов, желающих вам зла, — никто не желает вам зла, — а в том, чтобы, увидав причину недовольства общества, устранить ее. Люди все не могут желать раздора и вражды, а всегда предпочитают жить в согласии и любви с своими братьями. Если же теперь они волнуются и как будто желают вам зла, то только потому, что вы представляетесь им той преградой, которая лишает не только их, но и миллионы их братьев лучших благ человека — свободы и просвещения.

Для того чтобы люди перестали волноваться и нападать на вас, так мало нужно, и это малое так нужно для вас самих, так очевидно даст вам успокоение, что было бы удивительно, если бы вы не сделали этого.

А сделать нужно сейчас только очень мало. Сейчас нужно только следующее:

Во-первых — уравнивать крестьян во всех их правах с другими гражданами и потому уничтожить —

а) ни с чем не связанный, нелепый институт земских начальников;

б) отменить те особые правила, которые устанавливаются для определения отношений рабочих к нанимателям;

в) освободить крестьян от стеснения паспортов для перехода с места на место, а также от лежащих исключительно на квартирной, под-

водной, сельской, полицейской повинности (сотские, десятские);

г) освободить их от несправедливого обязательства платить по круговой поруке долги других людей, а также и от выкупных платежей, давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель;

и главное д) уничтожить бессмысленное, ни на что не нужное, оставленное только для самого трудолюбивого, нравственного и многочисленного сословия людей, позорное телесное наказание.

Уравнение крестьянства, составляющего огромное большинство народа, во всех правах с другими сословиями особенно важно потому, что не может быть прочно и твердо такое общественное устройство, при котором большинство это не пользуется одинаковыми с другими правами, а находится в положении раба, связанного особыми, исключительными законами. Только при равноправности трудящегося большинства со всеми другими гражданами и освобождения его от позорных исключений может быть твердое устройство общества.

Во-вторых — нужно перестать применять так называемые правила усиленной охраны, уничтожающие все существующие законы и отдающие население во власть очень часто безнравственных, глупых и жестоких начальников. Неприменение усиленной охраны важно пото-

му, что эта приостановка действия общих законов развивает доносы, шпионство, поощряет и вызывает грубое насилие, употребляемое часто против рабочих, входящих в столкновения с хозяевами и землевладельцами (нигде не употребляются такие жестокие истязания, как там, где действуют эти правила). Главное же потому, что только благодаря этой страшной мере все чаще и чаще стала употребляться вернее всего возвращающая людей, противная христианскому духу русского народа и не признанная до этого в нашем законодательстве смертная казнь, составляющая величайшее, запрещенное богом и совестью человека преступление.

В-третьих — нужно уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию. Нужно:

а) не делать различия в доступе к образованию между лицами различных положений и потому уничтожить все исключительные для народа запрещения чтений, преподаваний и книг, почему-то считаемых вредными для народа;

б) разрешить доступ во все школы лиц всех национальностей и исповеданий, не исключая и евреев, почему-то лишенных этого права;

в) не препятствовать учителям вести преподавание в школах на тех языках, на которых говорят дети, посещающие школу;

главное г) разрешить устройство и ведение всякого рода частных школ, как низших, так и высших, всем людям, желающим заниматься педагогической деятельностью.

Освобождение образования, воспитания и преподавания от тех стеснений, в которых они находятся теперь, важно потому, что только эти стеснения мешают рабочему народу избавиться от того самого невежества, которое служит теперь для правительства главным доводом для применения к народу этих самых стеснений. Освобождение от правительственного вмешательства в дело образования рабочего народа дало бы возможность народу усвоить несравненно более быстро и целесообразно все те знания, которые нужны ему, а не те, которые навязываются ему. Разрешение же открытия и ведения школ частными лицами уничтожило бы постоянно возникающие волнения среди учащейся молодежи, недовольной порядками заведений, в которых они находятся. Если бы не было препятствий к устройству свободных частных школ, как низших, так и высших, молодые люди, недовольные порядками правительственных учебных заведений, переходили бы в те частные учреждения, которые отвечали бы их требованиям.

Наконец, *в-четвертых*, и самое важное, нужно уничтожить все стеснения религиозной свободы. Нужно:

а) уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от признанной правительством церкви карается как преступление;

б) разрешить открытие и устройство старообрядческих часовен, церквей, молитвенных домов баптистов, молокан, штундистов и др.;

в) разрешить религиозные собрания и религиозные проповеди всех исповеданий;

г) не препятствовать людям различных исповеданий воспитывать своих детей в той вере, которую они считают истинной.

Сделать это необходимо потому, что, не говоря уже о той выработанной историей и наукой и признанной всем миром истине, что религиозные гонения не только не достигают своей цели, но производят обратное действие, усиливая то, что они хотят уничтожить, не говоря и о том, что только вмешательство власти в дела веры производит вреднейший и потому худший, так сильно обличаемый Христом порок лицемерия, не говоря уже об этом, вмешательство власти в дела веры препятствует достижению высшего блага как отдельного человека, так и всех людей — единения их между собою. Единение же достигается никак не насильственным и невозможным удержанием всех людей в раз усвоенном внешнем исповедании одного религиозного учения, которому приписывается непогрешимость, а только свободным движением всего человечества в приближении к единой истине,

которая одна и поэтому одна и может соединить людей.

Таковы самые скромные и легко исполнимые желания, как мы думаем, огромного большинства русского общества. Применение этих мер несомненно успокоит общество и избавит его от тех страшных страданий и (то, что хуже страданий) преступлений, которые неизбежно совершатся с обеих сторон, если правительство будет заботиться только о подавлении волнений, оставляя нетронутыми их причины.

Обращаемся ко всем вам — царю, министрам, членам государственного совета и советчикам и близким к царю, — вообще ко всем лицам, имеющим власть, помогите успокоению общества и избавлению его от страданий и преступлений. Обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям.

Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между собою, было бы хорошо одним, а другим — худо. В особенности же не может этого быть, если худо большинству. Хорошо же всем может быть только тогда, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество.

Помогите же улучшить положение этого большинства и в самом главном: в его свободе и

просвещении. Только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо.

Писал это Лев Толстой и, писавши, старался изложить не одно свое мнение, а мнение многих лучших, бескорыстных, разумных и добрых людей, желающих того же.

Лев Толстой

15 марта 1901 г.

ЦАРЮ И ЕГО ПОМОЩНИКАМ

ВТОРОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?

Вы боретесь за власть, которая уходит от вас. Но не важно то, что вы удержитесь или не удержитесь во власти. Важно не это. Важны те телесные и духовные страдания, то развращение, которым подвергается русский народ, вследствие того, что вы не умели и продолжаете не уметь или не хотеть употребить свою власть на благо народа.

Вы во что бы то ни стало хотите отстоять свою власть, но отстоять свою власть только для того, чтобы отстоять ее, вы никогда не будете в силах. Побеждают не извороты и хитрости, не искусные политические меры, не насилие, а всегда только добро и истина. Когда борются в обществе две партии, побеждает всегда та, в которой больше добра и которая ближе к истине.

Те, кто борются с вами теперь, имеют очень низкие идеалы, если и можно назвать идеалами

то, во имя чего они борются; идеалы их или отрицательные: желание избавиться от дурного русского правительства, или самые пошлые: подражания существующим в европейских государствах учреждениям, давно уже и там показавшим свою несостоятельность; или еще социалистические: в настоящем, увеличение платы рабочим и, в будущем, устройство когда-то и как-то такого порядка, при котором все люди, при одинаковой обязательной работе, будут все одинаково хорошо одеты и накормлены. Идеалы эти очень низкие и глупые, но это все-таки идеалы, у вас же нет никаких. Вы желаете одного — удержаться в том выгодном положении, в котором находитесь. И потому, как ни низки идеалы тех, которые борются с вами, как ни ничтожны сами люди эти, вам не устоять против них с вашим знаменем самодержавия и православия. Все это отжито и идеалами не может быть прошедшее, а бывает только будущее.

Поймите же, что те средства властвования силою, которые были в ваших руках, уже ушли от вас, что спасение ваше в одном: в том, чтобы признать и выставить перед людьми идеалы справедливости, добра и истины, более высокие и более осуществимые, чем те, которые выставляют ваши противники. Поставьте перед людьми такой идеал и серьезно и искренно не для того, чтобы спасти себя, а для того, чтобы исполнить свой долг, возьмитесь за осуществление

его, и вы спасете не только себя, но спасете Россию от тех бедствий, которые уже наступили и еще угрожают ей.

И такой идеал в наше время ближайший, практический, осуществимый есть только один: восстановление справедливости в праве всех людей на землю, на которой они рождаются. Людям легкомысленным и маломыслящим идеал этот кажется неосуществимым, потому что это не есть повторение задов того, что осуществлено в Европе и Америке; но именно потому, что идеал этот нигде еще не был осуществлен и есть давнишний идеал всего русского народа, это и есть несомненный идеал нашего времени и идеал, могущий быть и долженствующий быть осуществлен именно в России.

Поставьте только этот идеал теперь перед русским народом и на вашей стороне будут все лучшие люди так называемой интеллигенции и весь народ. С вами будут все умеренные конституционалисты, которые не могут не понять, что прежде, чем призывать весь народ к выборам своих представителей, нужно освободить этот народ от того земельного рабства, в котором он находится. С вами же должны будут признать себя и социалисты, так как тот идеал, который они ставят себе: обобществление орудий труда достигается прежде всего обобществлением главного орудия труда — земли. С вами же будут и революционеры, потому что та революция,

которую вы произведете освобождением земли от частной собственности, есть осуществление одного из главных пунктов их программы.

С вами же будет, главное, тот стомиллионный русский народ, который еще верит в царя и ждет только от него защиты и уничтожения всякой несправедливости. Признав в вас ту силу, которая собирается осуществить его давнишнее и самое основное и всеобщее желание, он все свои духовные и телесные силы положит на то, чтобы поддержать вас. А будут с вами лучшие люди интеллигенции, и будет с вами весь русский рабочий народ, то какими ничтожными, бессильными и жалкими окажутся те грубые, безнравственные, жестокие, развращенные части населения, которые кажутся теперь столь грозными, и, все более и более развращая людей, угрожают всему народу величайшими бедствиями.

Да, сделайте только то, что вы обязаны сделать, занимая место правительства, поставьте только перед народом идеал уничтожения несправедливости земельной собственности и все лучшее в народе примкнет к вам, а все худшее, теперь стоящее наверху, сразу потеряет все свое значение.

Но для того, чтобы это случилось, вам надо не формально, только внешним образом и как средство спасения, в неясных выражениях обещать заняться земельным вопросом посредством прирезок и выкупов банками и т. п. паллиа-

тивными мерами, а на деле, не откладывая, а тотчас же провозгласить принцип полной свободы земли, и без обращения внимания на все то противодействие богатых землевладельцев, которое неизбежно выразится в самых резких формах, приступить к приведению в исполнение этого великого дела: торжественно объявить манифестом о том, что земля с того-то числа перестает быть частной собственностью, а принадлежит всему населению и что для осуществления этого положения тотчас же назначаются по всем губерниям и областям выборные от всего народа комитеты, которым поручено обдумать и решить, в какой форме должно и может быть осуществлено это освобождение земли от права частной на нее собственности.

Сделайте это и вы увидите, какая горячая, разумная и согласная деятельность проявится в лучших слоях общества, выдвинув кверху лучших людей из всех сословий, упразднив, лишив всякого значения тех людей самых разнообразных сортов, которые теперь мутят Россию. Сделайте это и, как тает воск от лица огня, уничтожится вся та праздная и часто гнусная болтовня, которая отуманивает теперь русских людей, все эти ужасные, зверские элементы мести, злобы, корысти, зависти, тщеславия, честолюбия, и, главное, невежества, которые теперь мутят Россию. Сделайте это и увидите, как то войско, которое теперь уже перестает пови-

новаться вам, все без малейшего колебания станет на вашу сторону. Из ста солдат 90 крестьян.

Мы, старые люди, помним, как при уничтожении крепостного права стоило только выставить начало справедливости, отрицающее это право, и весь народ, не только те, которые страдали от этого учреждения, но и те, которые пользовались выгодами от него, почти все с увлечением и восторгом взялись за осуществление его. То же самое будет и с земельным вопросом. Разница только в том, что в разрешении вопроса рабства мы имели перед собой образец других народов; в этом же деле мы должны быть сами образцами для других. Неужели же мы такие дети и так слабоумны, что не можем думать своим умом, а должны рабски следовать или избирательным формам Европы, с общей, равной, тайной и т. д., или нелепому учению неосуществимого социализма, или еще бесформенности революционного террора? Пора нам думать своим умом. И велика будет ваша заслуга, если вы сделаете это.

Да, мы теперь стоим на распутьи двух дорог: одной со всеми ужасами анархического террора, с концом военного диктаторства, и другой — мирной и благой, разрешающей давнишнюю неправду и ведущей к новым, более справедливым формам человеческой жизни. И все это в ваших руках.

Подумайте об этом. Ведь не говоря уже о том несравнимом преимуществе избрания пути добра и правды перед путем робких попыток насилия и постыдных уступок и изворотов, — поймите то, что перед вами только два выхода: с одной стороны, ужасы революции 93 года, с казнью Людовика XVI, или 48 год с постыдным бегством Людовика Филиппа, или ужасы Коммуны 71 года; или, с другой стороны — мирное осуществление вечного и справедливого идеала народа, во главе которого вы стоите, и указание всем христианским народам того восстановления справедливости, которого так долго тщетно ожидают все народы. Неужели же можно еще колебаться?

То, что я предлагаю теперь, можно было беспрепятственно сделать 3 года тому назад, и тогда вместо всех бедствий развращения и позора японской войны, уже теперь Россия пользовалась бы полным благоденствием и стояла бы в деле истинного прогресса впереди всего человечества. Теперь же осуществление этого великого дела труднее, но пока еще возможно. Но возможно оно или нет, поймите, что это единственный выход, из того ужасного положения, в котором вы находитесь и в которое вы поставили русский народ.

Спешите, пока еще не поздно.

Примечание. В отданном мною в печать сочинении "Конец века" я высказываю мысль о

том, что значение совершающейся и предстоящей революции есть освобождение людей от всякой правительственной власти, замена насилия свободным и разумным соглашением. То, что я пишу в этом обращении к правительству, не исключает мысли о том, что, если бы правительство и избрало тот благой путь, который предстоит ему, конец революции был бы все тот же: освобождение людей от всякой насильнической власти, но в этом случае та же цель была бы достигнута без тех злодеяний и того развращения людей, которые неизбежны при продолжении правительством того пути самосохранения и то мелких и постыдных уступок, то попыток подавить беспорядки военной силой.

Лев Толстой.

Октябрь 1905 г.

*ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ
СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА*

УМЕРШЕГО 20 ЯНВАРЯ 1864 ГОДА В СИБИРИ,
БЛИЗ ТОМСКА НА ЗАЙМКЕ КУПЦА ХРОМОВА

Еще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной, как император Александр Первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего. Верил этому и историк царствования Александра Первого, ученый Шильдер.

Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех, в до-

вольно глухом месте, Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира, в-пятых, — обстоятельство мало известное, — то, что при протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не могло быть на изнеженном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), выдавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, то старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорываю •

щимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: "Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля".

Все догадки и сомнения эти перестали быть сомнениями и стали достоверностью вследствие найденных записок Кузмича. Записки эти следующие. Начинаются они так:

I

Спаси Бог бесценного друга Ивана Григорьевича¹ за это восхитительное убежище. Не стою я его доброты и милости Божией. Я здесь спокоен. Народа ходит меньше, и я один с своими преступными воспоминаниями и с Богом. Постараюсь воспользоваться уединением, чтобы

¹ Иван Григорьевич Латышев — это крестьянин села Краснореченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39-м году и который после разных перемен места жительства построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом, в лесу келью. В этой келье и начал Кузмич свои записки. (Прим. Л. Н. Толстого.)

подробно описать свою жизнь. Она может быть поучительна людям.

Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла — я еще полон его, хотя и борюсь с ним, — но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. Теперь же опишу только самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего трупа труп замученного мною до смерти солдата, и приступлю к описанию своей жизни с самого начала.

Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спаси-

телем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, un heureux hasard¹, как я сказал это madame Staël². Я считал себя таким, но Бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Все мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к Богу, молился то православному Богу с Фотием, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к Богу я обращался только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. Nous étions censés³ проживать нашу новую lune de miel⁴, а это был ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тон-

¹ счастливой случайностью (франц.).

² госпоже Сталь (франц.).

³ Мы предполагали (франц.).

⁴ медовый месяц (франц.).

кая лесть, не только лесть, но настоящая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово "любил", относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Впрочем, про это после.

Я спал дурно. Странно сказать, убийство красавицы, злой Настасьи (она была удивительно чувственно красива), вызвало во мне похоть. И я не спал всю ночь. То, что через комнату лежит чахоточная, постылая жена, не нужная мне, злило и еще больше мучало меня. Мучали и воспоминания о Мари (Нарышкиной), бросившей меня для ничтожного дипломата. Видно, и мне и отцу суждено было ревновать к Гагариным. Но я опять увлекаюсь воспоминаниями. Я не спал всю ночь. Стало рассветать. Я поднял гардину, надел свой белый халат и кликнул камердинера. Все еще спали. Я надел сюртук, штатскую шинель и фуражку и вышел мимо часовых на улицу.

Солнце только что поднималось над морем,

был свежий осенний день. На воздухе мне сейчас же стало лучше. Мрачные мысли исчезли, и я пошел к игравшему местами на солнце морю. Не доходя угла с зеленым домом, я услышал с площади барабан и флейту. Я прислушался и понял, что на площади происходила экзекуция: прогоняли сквозь строй. Я, столько раз разрешавший это наказание, никогда не видал этого зрелища. И странное дело (это, очевидно, было дьявольское влияние), мысли об убитой чувственной красавице Настасье и об рассекаемых шпицрутенами телах солдат сливались в одно раздражающее чувство. Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах и о военнопоселенцах, сотни которых были загнаны насмерть, и мне вдруг пришла странная мысль посмотреть на это зрелище. Так как я был в штатском, я мог это сделать.

Чем ближе я шел, тем явственнее слышалась барабанная дробь и флейта. Я не мог ясно рассмотреть без лорнета своими близорукими глазами, но видел уже ряды солдат и движущуюся между ними высокую, с белой спиной фигуру. Когда же я стал в толпе людей, стоявшей позади рядов и смотревшей на зрелище, я достал лорнет и мог рассмотреть все, что делалось. Высокий человек с привязанными к штыку обнаженными руками и с голой, кое-где алевшей уже от крови, рассеченной белой сутуловатой спиной шел по улице сквозь строй солдат с палками. Человек

этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза, но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умильные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся.

Когда я взгляделся в лицо этого человека, я узнал его. Это был Струменский, солдат, левофланговый унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, в свое время известный всем гвардейцам по своему сходству со мною. Его шутя называли Александром II.

Я знал, что он был вместе с бунтовавшими семеновцами переведен в гарнизон, и понял, что он, вероятно, здесь в гарнизоне сделал что-нибудь, вероятно, бежал, был пойман и вот наказывался. Как я потом узнал, так это и было.

Я стоял как заколдованный, глядя на то, как шагал этот несчастный и как его били, и чувствовал, что что-то во мне делается. Но вдруг я заметил, что стоявшие со мной люди, зрители, смотрят на меня, — одни сторонятся, другие приближаются. Очевидно, меня узнали. Увидав это, я повернулся и быстро пошел домой. Барабан все бил, флейта играла; стало быть, казнь все продолжалась. Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувство-

вать, то признавать, что делается то, что должно, — и я чувствовал, что я не мог. А между тем я чувствовал, что если я не признаю, что это так и должно быть, что это хорошо, то я должен признать, что вся моя жизнь, все мои дела — все дурно, и мне надо сделать то, что я давно хотел сделать: все бросить, уйти, исчезнуть.

Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного. Но, странное дело, мне не жалко было его, и я, вместо того чтобы остановить казнь, только боялся, что меня узнают, и ушел домой.

Скоро перестало быть слышно барабаны, и, вернувшись домой, я как будто освободился от охватившего меня там чувства, выпил свой чай и принял доклад от Волконского. Потом обычный завтрак, обычные, привычные — тяжелые, фальшивые отношения с женой, потом Дибич и доклад, подтверждавший сведения о тайном обществе. В свое время, описывая всю историю своей жизни, опишу, если Богу будет угодно, все подробно. Теперь же скажу только, что и это я внешним образом принял спокойно. Но это продолжалось только до конца обеда. После обеда я ушел в кабинет, лег на диван и тотчас же заснул.

Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всем теле разбудил меня, и я услышал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрики-

вания Струменского и увидел его или себя, — я сам не знал, он ли был я, или я был я, — увидел его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров. Затмение это продолжалось недолго: я вскочил, застегнул сюртук, надел шляпу и шпагу и вышел, сказав, что пойду гулять.

Я знал, где был военный госпиталь, и прямо пошел туда. Как всегда, все засуетились. Запыхавшись прибежал главный доктор и начальник штаба. Я сказал, что хочу пройти по палатам. Во второй палате я увидел плешивую голову Струменского. Он лежал ничком, положив голову на руки, и жалобно стонал. "Был наказан за побег", — доложили мне.

Я сказал: "А!", сделал свой обычный жест того, что слышу и одобряю, и прошел мимо.

На другой день я послал спросить, что Струменский. Мне сказали, что его причастили и он умирает.

Это был день именин брата Михаила. Был парад и служба. Я сказал, что нездоров после крымской поездки, и не пошел к обедне. Ко мне опять пришел Дибич и докладывал опять о заговоре во 2-й армии, напоминая то, что говорил мне об этом граф Витт еще до крымской поездки, и донесение унтер-офицера Шервуда.

Тут только, слушая доклад Дибича, приписывавшего такую огромную важность этим замыслам заговора, я вдруг почувствовал все зна-

чение и всю силу того переворота, который произошёл во мне. Они делают заговор, чтобы изменить образ правления, ввести конституцию, — то самое, что я хотел сделать двадцать лет тому назад. Я делал и разделял конституции в Европе, и что и кому от этого стало лучше? И главное, кто я, чтобы делать это? Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них — а уж я ли не участвовал в них и не перестраивал жизнь народов Европы — было не важно, не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что все это не мое дело. Что мое дело — я, моя душа. И все мои прежние желания отречения от престола, тогда с рисовкой, с желанием удивить, опечалить людей, показать им свое величие души, вернулись теперь, но вернулись с новой силой и с полной искренностью, уже не для людей, а только для себя, для души. Как будто весь этот пройденный мною в светском смысле блестящий круг жизни был пройден только для того, чтобы вернуться к тому юношескому, вызванному раскаянием, желанию уйти от всего, но вернуться без тщеславия, без мысли о славе людской, а для себя, для Бога. Тогда это были неясные желания, теперь это была невозможность продолжать ту же жизнь.

Но как? Не так, чтобы удивить людей, чтобы меня хвалили, а, напротив, надо было уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать. И эта

мысль так обрадовала, так восхитила меня, что я стал думать о средствах приведения ее в исполнение, все силы своего ума, своей, свойственной мне, хитрости употребил на то, чтобы привести ее в исполнение.

И удивительное дело, исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего Струменского и самому уйти, бежать, скрыв от всех свое имя.

И все делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я, как нарочно, заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я все больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым.

В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезался около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и, хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать себе помощника Виллие. Виллие не пошел бы на обман, этого же молодого человека я надеялся подкупить. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему восемьдесят тысяч, если он сде-

лает все то, что я от него требовал. План мой был такой: Струменский, как я узнал, в это утро был при смерти и должен был кончиться к ночи. Я ложился в постель и, притворившись раздраженным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привезти в ванне тело Струменского и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, все было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен.

Тело Струменского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Брат Николай вступил на престол, сослав в каторгу заговорщиков. Я видел потом в Сибири некоторых из них, я же пережил ничтожные в сравнении с моими преступлениями страдания и незаслуженные мною величайшие радости, о которых расскажу в своем месте.

Теперь же, стоя по пояс в гробу, семидесятидвухлетним стариком, понявшим тщету прежней жизни и значительность той жизни, которой я жил и живу бродягой, постараюсь рассказать повесть моей ужасной жизни.

МОЯ ЖИЗНЬ

12 декабря 1849
Сибирская тайга, близ Красноярска.

Сегодня день моего рождения, мне семьдесят два года. Семьдесят два года тому назад я ро-

дился в Петербурге, в Зимнем дворце, в покоях моей матери императрицы — тогда великой княгини Марьи Федоровны.

Спал я сегодня ночью довольно хорошо. После вчерашнего нездоровья мне стало несколько легче. Главное, прекратилось сонное духовное состояние, возобновилась возможность всей душой обращаться с Богом. Вчера ночью в темноте молился. Ясно сознал свое положение в мире: я — вся моя жизнь — есть нечто нужное тому, кто меня послал. И я могу делать это нужное ему и могу не делать. Делая нужное ему, я содействую благу своему и всего мира. Не делая этого, лишаясь своего блага — не всего блага, а того, которое могло быть моим, но не лишая мир того блага, которое предназначено ему (миру). То, что я должен бы был сделать, сделают другие. И Его воля будет исполнена. В этом свобода моей воли. Но если он знает, что будет, если все определено им, то нет свободы? Не знаю. Тут предел мысли и начало молитвы, простой, детской и старческой молитвы: "Отче, не моя воля да будет, но твоя. Помоги мне. Прииди и вселися в ны". Просто: "Господи, прости и помилуй; да, Господи, прости и помилуй. Словами не могу сказать, а сердце ты знаешь, ты сам в нем".

И я заснул хорошо. Просыпался, как всегда, по старческой слабости, раз пять и видел сон о том, что купаюсь в море и плаваю и удивляюсь, как меня вода держит высоко, — так, что я совсем

не погружаюсь в нее; и вода зеленоватая, красивая; и какие-то люди мешают мне, и женщины на берегу, а я нагой, и нельзя выйти. Смысл сновидения тот, что мешает мне еще крепость моего тела, но выход близок.

Встал до рассвета, высек огня и долго не мог зажечь серничка. Надел свой лосиный халат и вышел на улицу. Из-за осыпанных снегом листьев и сосен краснела красно-оранжевая заря. Внес вчера наколонные дрова и затопил, и стал еще колоть. Рассвело. Поел размоченных сухарей; печь истопилась, закрыл трубу и сел писать.

Родился я ровно семьдесят два года тому назад, 12 декабря 1777 года, в Петербурге, в Зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александра, — в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я был столь же великим человеком, как Александр Македонский, и столь же святым, как Александр Невский. Крестили меня через неделю в большой церкви Зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке горцогиня курляндская, покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский. Комната, в которую поместили меня, была так устроена по плану бабушки. Я ничего этого не помню, но знаю по рассказам.

В обширной комнате этой с тремя высокими окнами, посередине ее, среди четырех колонн

прикреплен к высокому потолку бархатный балдахин с шелковыми занавесами до полу. Под балдахином поставлена кроватка железная, с кожаным тюфячком, подушечкой и легким английским одеялом. Кругом балдахина балюстрада в два аршина вышины — так, чтобы посетители не могли близко подходить. В комнате никакой мебели, только позади балдахина постель кормилицы. Все подробности моего телесного воспитания были обдуманы бабушкой. Запрещено было меня укачивать, пеленали особенным образом, ноги были без чулок, купали сначала в теплой, потом в холодной воде, одежда была особенная, надевалась сразу, без швов и завязок. Как только я начал ползать, так меня клали на ковер и предоставляли самому себе. Первое время мне рассказывали, что бабушка часто сама садилась на ковер и играла со мной. Я ничего этого не помню, не помню и кормилицу.

Кормилицей моей была жена садовникова молодца, Авдотья Петрова из Царского Села. Я не помню ее. Я увидел ее в первый раз, когда мне было восемнадцать лет и она в Царском подошла ко мне в саду и назвала себя. Было это в то мое хорошее время моей первой дружбы с Чарторижским и искреннего отвращения ко всему тому, что делалось при обоих дворах, как несчастного отца, так и ставшей мне ненавистной тогда бабки. Я был еще человеком тогда, и даже не дурным человеком, с добрыми стремлениями.

Я шел с Адамом по парку, когда из боковой аллеи вышла хорошо одетая женщина, с необыкновенно добрым, очень белым, приятным, улыбающимся и взволнованным лицом. Она быстро подошла ко мне и, упав на колени, схватила мою руку и стала целовать ее.

— Батюшка, ваше высочество. Вот когда Бог привел.

— Кто вы?

— Кормилка ваша, Авдотья, Дуняша, одиннадцать месяцев кормила. Привел Бог взглянуть.

Я насилу поднял ее, спросил, где она живет, и обещал зайти к ней. Милый intérieur¹ ее чистенького домика; ее милая дочка, совершенная русская красавица, моя молочная сестра, которая была невестой берейтора придворного; отец ее, садовник, такой же улыбающийся, как и жена, и куча детей, тоже улыбающихся, — все они точно осветили меня в темноте. ”Вот настоящая жизнь, настоящее счастье, — думал я. — Так все просто, ясно, никаких интриг, зависти, ссор”.

Так вот эта милая Дуняша и кормила меня. Главной няней моей была немка Софья Ивановна Бенкендорф, а няней — англичанка Гесслер. Софья Ивановна Бенкендорф, немка, была толстая, белая, прямоносая женщина, с величественным видом, когда она распорядилась

¹ обстановка (франц.).

в детской, и удивительно униженной, низкопоклонной, низкоприседающей при бабушке, которая была на голову ниже ее ростом. Она ко мне относилась особенно раболепно и вместе с тем строго. То она была царицей, в своих широких юбках и с своим величественным прямоносим лицом, то вдруг делалась притворяющейся девочкой.

Прасковья Ивановна (Гесслер), англичанка, была длиннолицая, рыжеватая, всегда серьезная англичанка. Но зато, когда она улыбалась, она расслаивалась вся, и нельзя было удержаться от улыбки. Мне нравилась ее аккуратность, ровность, чистота, твердая мягкость. Мне казалось, что она что-то знает такого, чего не знал никто, ни маменька, ни батюшка, даже сама бабушка.

Мать свою я помню сначала как какое-то странное, печальное сверхъестественное и прелестное видение. Красивая, нарядная, блестящая бриллиантами, шелком, кружевами и обнаженными полными белыми руками, она входила в мою комнату и с каким-то странным, чуждым мне, не относящимся ко мне грустным выражением лица ласкала меня, брала на свои сильные прекрасные руки, подносила к еще более прекрасному лицу, откидывала густые пахучие волосы, и целовала меня и плакала, и раз даже спустила меня с рук и упала в дурноте.

Странное дело: внушено ли мне это было бабушкой, или таково было обхождение со мною

матери, или я детским чутьем проник ту дворцовую интригу, которой я был центром, но у меня не было простого чувства, даже никакого чувства любви к матери. Что-то натянутое чувствовалось в ее обращении ко мне. Она как будто что-то выказывала через меня, забывая меня, и я это чувствовал. Так это и было. Бабка отняла меня от родителей, взяла в свое полное распоряжение, для того чтобы передать мне престол, лишив его ненавидимого ею сына, моего несчастного отца. Я, разумеется, долго ничего не знал этого, но с первых же дней сознания я, не понимая причин, сознавал себя предметом какой-то вражды, соревнования, игрушкой каких-то замыслов и чувствовал холодность и равнодушие к себе, к своей детской душе, не нуждавшейся ни в какой короне, а только в простой любви. И ее-то и не было. Была мать, всегда грустная в моем присутствии. Один раз она, поговорив о чем-то по-немецки с Софьей Ивановной, расплакалась и выбежала почти из комнаты, услышав шаги бабушки. Был отец, который иногда входил в нашу комнату и к которому потом водили меня с братом. Но отец этот, мой несчастный отец, еще больше и решительнее, чем мать, при виде меня выражал свое неудовольствие, сдержанный гнев даже.

Помню, как раз нас с братом Константином привели на их половину. Это было перед отъездом его в путешествие за границу в 1781 году. Он

вдруг отстранил меня рукой и с страшными глазами вскочил с кресла и, задыхаясь, заговорил что-то обо мне и бабушке. Я не понял что, но помню слова:

— Après 62 tout est possible...¹

Я испугался, заплакал. Матушка взяла меня на руки и стала целовать. И потом поднесла ему. Он быстро благословил меня и, стуча своими высокими каблуками, почти выбежал из комнаты. Уже долго потом я понял значение этого взрыва. Они с матушкой ехали путешествовать под именем Comte и Comtesse du Nord². Бабушка хотела этого. И он боялся, чтобы в его отсутствие он бы не был объявлен лишенным права на престол и я признан наследником...

Боже мой, Боже мой! И он дорожил тем, что погубило телесно и духовно и его и меня, и я, несчастный, дорожил тем же.

Кто-то стучится, произнося молитву: "Во имя Отца и Сына". Я сказал: "Аминь". Уберу писание, пойду отопру. И если Бог велит, буду продолжать завтра.

13 декабря

Спал мало и видел нехорошие сны: какая-то женщина, неприятная, слабая, жметесь ко мне, и я не ее боюсь, не греха, а боюсь, что увидит жена. И будут опять упреки. Семьдесят два года, и я все

¹ После 62 года все возможно... (франц.).

² граф и графиня Северные (франц.).

еще не свободен... Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Видел еще — и это опять подтверждение той низкой степени нравственности, на которой я стою, — что кто-то принес мне здесь во мху конфеты, какие-то необыкновенные конфеты, и мы разобрали их из моха и роздали. Но после раздачи остались еще конфеты, и я выбираю их для себя, а тут мальчик вроде сына турецкого султана, черноглазый, неприятный, тянется к конфетам, берет их в руки, и я отталкиваю его и между тем знаю, что ребенку гораздо свойственнее есть конфеты, чем мне, и все-таки не даю ему и чувствую к нему недоброе чувство, и в то же время знаю, что это дурно.

И странное дело, наяву со мной нынче случилось это самое. Пришла Марья Мартемьяновна. Вчера стучался от нее посол с запросом, может ли она побывать. Я сказал, что можно. Мне тяжелы эти посещения, но я знаю, что ее огорчил бы отказ. И вот нынче она приехала. Полозья издалека слышно было, как визжали по снегу. И она, войдя в своей шубе и платках, внесла кульки с гостинцами и такой холод, что я оделся в халат. Она привезла оладей, масла постного и яблок. Она приехала спросить о дочери. Сватается богатый вдовец. Отдавать ли? Очень мне тяжело это их представление о моей прозорливости. Все, что я говорю против, они

приписывают моему смирению. Я сказал, что всегда говорю, что целомудрие лучше брака, но, по слову Павла, лучше жениться, чем разжигаться. С ней вместе приехал ее зять Никанор Иванович, тот самый, который звал меня поселиться в его доме и потом не переставая преследовал меня своими посещениями.

Никанор Иванович — это великое для меня искушение. Не могу преодолеть антипатии, отвращения к нему. "Ей, господи, даруй мне зрети прегрешения моя и не осуждать брата моего". А я вижу все его согрешения, угадываю их с проницательностью злобы, вижу все его слабости и не могу победить антипатии к нему, к брату моему, к носителю, так же как и я, божественного начала.

Что значат такие чувства? Я в моей долгой жизни не раз испытывал их. Но самые сильные мои две антипатии это были Лудовик XVIII, с его животом, горбатым носом, противными белыми руками, с его самоуверенностью, наглостью, тупостью (вот я сейчас уже начинаю ругать его), и другая антипатия — это Никанор Иванович, который вчера два часа мучал меня. Все мне, от звука его голоса до волос и ногтей, вызывало во мне отвращение. И я, чтоб объяснить свою мрачность Марье Мартемьяновне, солгал, сказав, что мне нездоровится. После них стал на молитву и после молитвы успокоился. Благодарю тебя, Господи, за то, что одно, единственное одно, что

нужно мне, в моей власти. Вспомнил, что Никанор Иванович был младенцем и будет умирать, тоже вспомнил и о Лудовике XVIII, зная, что он уже умер, и пожалел, что Никанора Ивановича уже не было, чтобы я мог выразить ему мое доброе к нему чувство.

Марья Мартемьяновна привезла много свечей, и я могу писать вечером. Вышел на двор. С левой стороны потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии. Как хорошо, как хорошо! Итак, продолжаю.

Отец с матерью уехали в заграничное путешествие, и мы с братом Константином, родившимся два года после меня, перешли на все время отсутствия родителей в полное распоряжение бабки. Брата назвали Константином в ознаменование того, что он должен был быть греческим императором в Константинополе.

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. Бабка ласкала, хвалила меня, и я любил ее, несмотря на отталкивающий меня дурной запах, который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно когда она меня брала на колени. И еще неприятны мне были ее руки, чистые, желтоватые, сморщенные, какие-то склизкие, глянцевиные, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми, обнаженными ногтями. Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с

улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое, но не отталкивающее впечатление. Я приписывал это выражение глаз (о котором вспоминаю теперь с омерзением) ее трудам о своих народах, как мне внушили это, и я жалел ее за это томное выражение глаз. Видел я раза два Потемкина. Этот кривой, косою, огромный, черный, потный, грязный человек был ужасен. Особенно же ужасен он мне был тем, что он один не боялся бабки и говорил своим трескучим голосом громко при ней и смело, хотя и называл меня высочеством, ласкал и тормозил меня.

Из тех, кого я видел у нее в это мое первое время детства, был еще Ланской. Он всегда был с ней, и все замечали его, все ухаживали за ним. Главное, сама императрица беспрестанно оглядывалась на него. Я не понимал, разумеется, тогда, что такое был Ланской, и он очень нравился мне. Нравились мне его букли, нравились обтянутые в лосины красивые ляжки и икры, нравилась его веселая, счастливая, беззаботная улыбка и бриллианты, которые повсюду блестели на нем.

Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катались на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенький, рыженький, un petit Bacchus¹, как его называла бабушка, веселил всех своими

¹ маленький Вакх (франц.).

шутками, смелостью и выдумками. Он всех переразвивал, и Софью Ивановну и даже самую бабушку.

Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила, улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно в том мире, в котором жил: я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.

Другое важное событие в связи с смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские

руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятностям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.

Людам, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтвого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительно было свое величие.

Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы, два брата, и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади. Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя; на головах шляпы с перьями, которые мы то и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. "On vous salue, — повторяет Николай Иванович. — A droite"¹. Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.

Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у меня была с детства. Нам внушали — особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это, — что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.

Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.

— Как ты смеешь!

— Я нечаянно. Что за важность!

Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.

¹ Вас приветствуют. Направо (франц.).

На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп и наточить нечем, да и не умею.

16 декабря

Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с Богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь меня к себе, или делались неисполнимы, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполнимыми прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.

И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, ско-

рее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.

Сначала это мне показалось странным. Но, вдумавшись, я вдруг увидел, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с Богом, скрывало от меня Бога. Я пришел к этому бессознательно. Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к Богу, то все, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и, хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.

Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.

Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теперешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под Дрезденом, когда все скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, *des éclaircies*¹, в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти *éclaircies* в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании. В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.

Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощанье с родителями, передразниванье Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне

¹ просветы (*франц.*).

было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кровати. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и пожаловаться бабушке.

Другое памятное мне воспоминание, уже несколько позже — мне было около девяти лет, — это происшедшее у бабушки почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным. Было это незадолго до поездки бабушки в Крым и нашего первого путешествия в Москву. Как обыкновенно, Николай Иванович приводит нас к бабушке. Большая с лепным и расписным потолком комната полна народом. Бабушка уже причесанная. Волосы ее зачесаны кверху надо лбом и как-то особенно искусно заложены на темени. Она сидит в белом пудроманте перед золотым туалетом. Горничные ее стоят над нею и убирают ее голову. Она, улыбаясь, смотрит на нас, продолжая говорить с большим, высоким, широким генералом с андреевс-

кой лентой и страшно развороченной щекой ото рта до уха. Это Орлов, *Le balafre*¹. Я тут в первый раз видел его. Около бабушки андерсоны, левретки. Моя любимица Мими вскакивает с подола бабушки и вскакивает на меня лапами и лижет в лицо. Мы подходим к бабушке и целуем ее белую пухлую руку. Рука переворачивается, и загнутые пальцы ловят меня за лицо и ласкают. Несмотря на духи, я чувствую неприятный бабушкин запах. Но она продолжает смотреть на *Balafre* и говорит с ним.

— Какоф маладец, — говорит она, указывая на меня. — Вы ишо не витали его, граф? — говорит.

— Молодцы оба, — говорит граф, целуя руку мою и Костину.

— Карашо, карашо, — говорит она горничной, надевающей ей на голову чепец. Горничная эта — Марья Степановна, набеленная, нарумяненная, добродушная женщина, которая всегда ласкает меня.

— *Où est ma tabatière?*²

Ланской подходит, подает открытую табакерку. Бабушка нюхает и, улыбаясь, глядит на подходящую шутиху Матрену Даниловну.

¹ Человек со шрамом (*франц.*).

² Где моя табакерка? (*франц.*).

СКАЗКИ

ЦАРСКИЕ БРАТЬЯ

Один царь шел по улице. Нищий подошел к нему и стал просить милостыню.

Царь не дал ничего. Нищий сказал: "Царь, ты, видно, забыл, что Бог всем один отец; мы все братья, и нам всем делиться надо". Тогда царь остановился и сказал: "Ты правду говоришь, мы братья и нам делиться надо", — и дал нищему золотую деньгу. Нищий взял золотую деньгу и сказал: "Ты мало дал; разве так делятся с братьями? Надо делить поровну. У тебя миллион денег, а ты мне дал одну". Тогда царь сказал: "То правда, что у меня миллион денег, а я тебе дал одну; но у меня и братьев столько же, сколько денег".

ЦАРСКОЕ НОВОЕ ПЛАТЬЕ

Один царь был охотник до хороших платьев. Он ни о чем больше не думал, только как бы ему получше нарядиться. Пришли к нему один раз два портные мастера и говорят: "Мы можем сшить такое нарядное платье, какого еще никогда ни у кого не было. Только, если кто глуп и к своей должности не годится, тот платья нашего не может видеть. Кто умен, тот будет видеть, а кто глуп, тот рядом будет стоять и не будет видеть платья нашей работы". Царь обрадовался портным и велел им сшить на себя платье. Портным отвели во дворце горницу и дали им бархату, шелку, золота, — всего, что нужно было для платья.

Когда прошла неделя, царь послал своего министра узнать, готово ли новое платье. Министр пришел и спросил; портные сказали, что готово, и показали министру пустое место. Министр знал, что если кто глуп и к своей должности не годится, то тот не может видеть платья, и

ти не годится, то тот не может видеть платья, и он притворился, что видит платье и похвалил. Царь велел себе принести платье. Ему принесли и показали пустое место. Царь тоже притворился, что он видит новое платье, снял свое старое платье и велел надеть на себя новое. Когда царь пошел в новом платье гулять по городу, — все видели, что на царе нет никакого платья; но все боялись сказать, что они не видят платья, потому что слышали, что только глупый не может видеть нового платья. И каждый думал только про себя, что он не видит, а думал, что другие все видят. Так царь гулял по городу, и все хвалили новое платье. Вдруг один дурачок увидал царя и закричал: "Смотрите: царь по улицам ходит раздевшись!" И царю стало стыдно, что он не одет, и увидали, что на царе ничего не было.

ЦАРЬ И РУБАШКА

Один царь был болен и сказал: "Половину царства отдам тому, кто меня вылечит". Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал: если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя — царь выздоровеет. Царь и послал искать по своему царству счастливого человека; но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, да беден; кто и здоров и богат, да жена не хороша, а у кого дети не хороши; все на что-нибудь да жалуются. Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избышки, и слышно ему — кто-то говорит: "Вот слава Богу, наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно?" Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захо-

чет, а рубашку отнести к царю. Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но счастливый был так беден, что на нем не было и рубашки.

РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН

Жил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит: кличет его кто-то сзади. Оглянувшись Емельян, видит — стоит красавица девица и говорит ему:

— Что ты, Емельян, не женишься?

— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет.

И говорит девица:

— Возьми меня замуж!

Полюбилась Емельяну девица.

— Я, — говорит, — с радостью, да где мы жить будем?

— Есть, — говорит девица, — о чем думать! Только бы побольше работать да поменьше спать — а то везде и одеты и сыты будем.

— Ну что ж, — говорит, — ладно. Женемся. Куда ж пойдём?

— Пойдем в город.

Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.

Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился: "Где такая красавица родилась?" Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать:

— Кто, — говорит, — ты?

— Мужика Емельяна жена, — говорит.

— Зачем ты, — говорит, — такая красавица, за мужика пошла? Тебе бы царицей быть.

— Благодарю, — говорит, — на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.

Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, все думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:

— Возьми ты, — говорят, — Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда ее взять можно будет.

Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.

Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:

— Что ж, — говорит, — иди. День работай, а ночью ко мне приходи.

Пошел Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:

— Что ж ты один пришел, без жены?

— Что ж мне, — говорит, — ее водить: у нее дом есть.

Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взялся Емельян за работу и не чаял все кончить. Глядь, раньше вечера все кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.

Пришел Емельян домой. А дома у него все выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, ткёт, мужа ждет. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.

— Да что, — говорит, — плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.

— А ты, — говорит, — не думай об работе и назад не оглядывайся и вперед не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Все вовремя поспеет.

Лег спать Емельян. Наутро опять пошел. Взялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь — к вечеру все готово, засветло пришел домой ночевать.

Стали еще и еще набавлять работу Емельяну, и все к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу — что ни зададут, — все делает к сроку Емельян, к жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:

— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а все ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучать, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой, песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?

Стали царские слуги оправдываться.

— Мы, — говорят, — всеми силами старались его сперва черной работой замучать, да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума не достанет; тоже не можем донять. Откуда что берется! До всего доходит, все делает. Не иначе как либо в нем самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит

он, тогда можно ему за ослушание голову отрубить.

Послал царь за Емельяном.

— Ну, — говорит, — вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтраму к вечеру готово было. Построишь — я тебя награжу, а не построишь — казню.

Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. "Ну, думает, пришел мой конец теперь". Пришел домой к жене и говорит:

— Ну, — говорит, — собирайся, жена: бежать надо куда попало, а то ни за что пропадем.

— Что ж, — говорит, — так заробел, что бежать хочешь?

— Как же, — говорит, — не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозитя голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время.

Не приняла жена этих речей.

— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.

— Да как же слушаться, когда не по силам?

— И... батюшка! не тужи, поужинай да ложись: наутро вставай пораньше, все успеешь.

Лег Емельян спать. Разбудила его жена.

— Ступай, — говорит, — скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.

Пошел Емельян в город, приходит — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру все исправил.

Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.

Опять призывает царь своих слуг:

— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала, — говорит, — и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расскажю.

И придумали ему слуги, чтобы приказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.

— Если ты, — говорит, — в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было все по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.

Опечалился еще пуще Емельян, пришел к жене сумрачный.

— Что, — говорит жена, — опечалился, или еще новое что царь приказал?

Рассказал ей Емельян.

— Надо, — говорит, — бежать.

А жена говорит:

— Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться.

— Да как слушаться-то?

— И... — говорит, — батюшка, ни о чем не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, все будет к поре.

Лег Емельян спать. Поутру разбудила его жена.

— Иди, — говорит, — ко дворцу, все готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сровняй.

Пошел Емельян; приходит в город; вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца, видит — неровное место, стал ровнять.

Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом ровняет. Ужаснулся царь; и не рад он и реке и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: "Нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?"

Призвал слуг своих, стал с ними думать.

— Придумайте, — говорит, — мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни выдумывали, он все сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.

Думали, думали придворные и придумали. пришли к царю и говорят:

— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда — не знай куда, и принеси того — не знай

чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо; и чего бы он ни принес, ты скажешь, что не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно, и жену его взять.

Обрадовался царь.

— Это, — говорит, — вы умно придумали.

Послал царь за Емельяном и сказал ему:

— Поди туда — не знай куда, принеси того — не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову.

Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.

— Ну, — говорит, — на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.

Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу:

— Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке к старинной, мужицкой, солдатской матери, надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если все сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретенце.

— Вот это, — говорит, — ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.

Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит — солдаты учатся. По-

стоял, посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда — не знай куда, и как принести того — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто, — говорят, — тебя послал искать?

— Царь, — говорит.

— Мы сами, — говорят, — вот с самого солдатства ходим туда — не знай куда, да не можем дойти, и ищем того — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.

Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел, шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядет, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него:

— Чего пришел?

Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда — не знай куда, принести того — не знай чего.

Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно,— говорит,— садись, сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот тебе,— говорит,— клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Приедешь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, что надо. А ты тогда скажи: "Коли не то, так разбить его надо", — да ударь по штучке по этой, а потом снеси ее к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь.

Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок. Катил, катил — привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, слышит — отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын.

— Рано еще,— говорит,— успею.

Слышит — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что то такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит; ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется.

— Барабан, — говорят.

— А что же он — пустой?

— Пустой, — говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели.

Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришел, мол, тот, что ходил туда — не знай куда, принес того — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я, — говорит, — нынче пришел, принес, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где, — говорит, — ты был?

Он сказал.

— Не там, — говорит. — А что принес?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то, — говорит.

— А не то, — говорит, — так разбить ее надо, и черт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. Как ударил, собралось все войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу, — говорит Емельян. — Мне, — говорит, — его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повел к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо — проживать.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ II. *22 августа 1862 г.*

Царь это письмо получил.

В ответ тульскому губернатору было поручено лично сообщить Толстому, что "Его Величеству благоугодно, чтобы помянутая мера (обыск) не имела собственно для графа Толстого никаких последствий".

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ III. *8—15 марта 1881 г.*

Письмо было написано незадолго до суда над "Первомартовцами" — членами "Народной воли", организаторами и участниками покушения на Александра II 1 марта 1881 года.

В книге воспоминаний "Моя жизнь" С. А. Толстая так прокомментировала это письмо: "Льва Николаевича особенно огорчало то, что молодой царь, вступая на престол, сразу должен был совершить жестокое дело — казнить убийц отца. Еще до суда, в марте, Лев Николаевич решил написать государю

Александру III письмо, в котором он просил о помиловании убийц и убеждал молодого царя не начинать своего царствования с дурного дела, а стараться душисть зло добром и только добром, и слова свои Лев Николаевич основывал на Евангелии, которым был в то время весь духовно пропитан. На письмо это Александр III велел сказать графу Льву Николаевичу Толстому, что если б покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить. И вот повешены были тогда пятеро, к ужасу Льва Николаевича, в том числе Софья Перовская, женщина, что в то время возмущало многих”.

Письмо сохранилось у автора в черновом варианте.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ III. *Январь 1894 г.*

Письмо было написано в начале января 1894 года.

Дмитрий Александрович Хилков (1858—1914) — в прошлом гвардейский офицер, в то время был последователем Толстого. Его жена — Цецилия Владимировна Винер (1860—1922). Обоих супругов Толстой знал лично. В пору заступничества Толстого сыну Хилковых Борису было пять лет, дочери Ольге — два года.

Письмо Толстого осталось без ответа.

НИКОЛАЙ ПАЛКИН

Статья (как и написанный много лет спустя рассказ ”После бала”) создавалась под впечатлени-

ем рассказа старого солдата, у которого Толстой заночевал во время пешего перехода из Москвы в Ясную Поляну в апреле 1886 года. Работа над статьей была завершена в начале 1887 года, но в России она была опубликована лишь в 1917 г.

СОН МОЛОДОГО ЦАРЯ

20 октября 1894 года в Ливадии скончался царь Александр III. На престол вступил "молодой царь" — 26-летний Николай II. 14 ноября того же года состоялась его свадьба: принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская (Аликс) стала российской императрицей Александрой Федоровной.

В самом конце года, 25 декабря, Л. Толстой записал в дневнике: "Я недавно, дней десять, оставил и сначала писал "Сон молодого царя". Рассказ остался незавершенным и при жизни автора не печатался.

Публикация рассказа В. Чертковым в 1918 г. сопровождалась дополнением: "Выпущенное место из "Молодого царя".

БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ.

17 января 1895 г. царь произнес краткую речь перед делегациями дворянства и земства со всей России. Толстой хотел поначалу выступить в печати с ответным открытым письмом, адресованным Николаю II. В мае того же года он приступил к работе над статьей, оставшейся неоконченной. Впервые в России статья печаталась в

1917 г. Заглавие статье дал ее первый публикатор — В. Г. Чертков.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II. *10 мая 1897 г.*

9 мая 1897 года Толстой записал в дневнике: "Нынче приехали патровские молоканы, я написал начерно письмо царю".

Молокане были одной из христианских сект, возникших в России во второй половине XVIII в. Моления они совершали в обычных домах, отвергая церковь, ее обряды, священников. Отказывались от военной службы. Власти преследовали молокан, отбирали у них детей, чтобы направить их в православные монастыри.

За помощью к Толстому в Ясную Поляну приехали крестьяне из села Патровки Самарской губ. Толстой написал для них письмо царю и несколько сопроводительных писем, с которыми посланники отправились в Петербург. Но там, испугавшись новых кар, они все письма уничтожили, а сами вернулись к Толстому.

Толстой вторично послал царю письмо, на этот раз с П. А. Буланже, ехавшим в Петербург. Написал он также своему знакомому, графу Александру Васильевичу Олсуфьеву, генерал адъютанту царя, — с просьбой содействовать передаче письма царю. Письмо Толстого царю было передано, но воздействия не оказало. Толстому вновь пришлось заниматься этим вопросом (см. след. письмо), а П. А. Буланже за поддержку духоборов в августе того же года был выслан из России за границу — вслед за

В. Г. Чертковым, П. И. Бирюковым и И. М. Трегубовым.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II. *19 сентября 1897 г.*

19 сентября 1897 г. Толстой сделал в дневнике следующую запись: "Еще перебило работу приезд молокан из Самары — об отнятых детях. Хотел писать за границу и написал даже очень резкое и, мне казалось, сильное письмо, но раздумал. Перед Богом не следовало. Надо еще попробовать. Нынче написал письма государю, Олсуфьеву, Heath'у и Л. И. Чертковой и отправил молокан".

Продолжая майские хлопоты о возвращении молоканам насильно отнятых у них детей, Толстой и на этот раз, помимо прямого обращения к царю, пишет письма приближенным к государю лицам: А. В. Олсуфьеву, воспитателю Николая II и его братьев англичанину Чарльзу Хису и матери В. Г. Черткова, статс-даме Елизавете Ивановне Чертковой. В январе 1898 г. по тому же поводу дочь писателя Татьяна Львовна Толстая встречалась с обер-прокурором синода К. П. Победоносцевым. В результате молоканские дети были возвращены родителям.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II. *7 декабря 1900 г.*

Многие годы Толстой оказывал поддержку духоборам (духоборцам), "одна из выдающихся черт которых", по словам писателя, состояла в том, что они "отказывались от присяги и военной службы

и за это были преследуемы, гонимы". Поступали так духоборы из убеждения, что "христианин не может совершать насилия и участвовать в них". Спасаясь от преследования властей, часть духоборов в конце XIX в. переселилась в Канаду. Старший сын писателя, Сергей Львович Толстой сопровождал второй пароход с духоборами, прибывший в канадский порт Галифакс в январе 1899 г.

В декабре 1900 г. Толстой получил из Канады письмо от нескольких женщин-духоборок с просьбой помочь им вернуться в Россию и поселиться в Якутской области, где отбывали наказание их мужья. После обращения Толстого к царю духоборкам разрешили вернуться в Россию.

ПИСЬМО НИКОЛАЮ II. 16 января 1902 г.

Мысль о том, чтобы написать царю письмо о судьбе России, долгое время не давала Толстому покоя. Записи об этом неоднократно появляются в его дневнике. В ноябре 1901 г., беседуя с зятем, М. С. Сухотиным, Толстой поделился своим намерением: "Я постараюсь, я все ему выскажу, про все дурное, что делается; скажу ему о жизни, о смерти". — "Да ведь этим не испугаете, раз он уверен, что живет, как следует". — "Нет, это не может быть; он поймет то дурное, что делает".

22 января 1902 г., находясь в Гаспре, Толстой записал в дневнике: "Почти все время был болен, то есть приближался к смерти... За это время написал письмо государю и послал через Николая

Михайловича. И письмо, и он нынче в Петербурге. Не знаю, передаст ли”.

Великий князь Николай Михайлович, с которым Толстой познакомился в Крыму, согласился передать царю его письмо. И обещание свое выполнил. Через него же царь сообщил Толстому, что послание его прочитал — ”и никому показывать не будет”.

В. Г. Чертков, опубликовавший это письмо в 1918 г. в сборнике ”Лев Толстой и русские цари”, прокомментировал ответ государя однозначно: ”Он гарантирует автору его безопасность и вместе с тем оставляет все просьбы и советы Толстого без последствий”.

ЦАРЮ И ЕГО ПОМОЩНИКАМ

Работа над статьей-обращением ”Царю и его помощникам” велась Толстым с сентября 1900 г. Датирована 15 марта 1901 г. Как личное письмо обращение было послано Толстым Николаю II, ряду министров, другим влиятельным лицам. Никто из них на послание писателя не откликнулся. Публикация статьи в России была запрещена. В печати она появилась лишь в 1917 г.

ЦАРЮ И ЕГО ПОМОЩНИКАМ. *Октябрь 1905 г.*

Вторая статья-обращение ”Царю и его помощникам” написана Толстым осенью 1905 г. Осталась незавершенной. Впервые была опубликована В. Чертковым в сборнике ”Лев Толстой и русские цари” (1918).

ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА

Замысел повести был давний, но непосредственно над произведением Толстой работал в ноябре-декабре 1905 г. Произведение осталось незавершенным.

В России впервые повесть печаталась после смерти автора, в журнале "Русское богатство" в феврале 1912 г. Этот номер был задержан цензурой, а редактор журнала В. Г. Короленко за публикацию повести привлекался к суду.

Публикация повести в журнале сопровождалась статьей Короленко "Герой повести Л. Н. Толстого". В ней приводились многие детали из жизни старца, о которых автор повести, судя по всему, просто не успел рассказать. Так, Федор Кузмич был судим за бродяжничество, его жестоко наказали розгами, а затем с бубновым тузом на спине он с партией арестантов был выслан по этапу на каторжные работы в Сибирь.

Короленко полагал, что в этой легенде "стройно и цельно воплотилась обычная мечта русского народа, находившая такие родственные отклики в душе великого русского писателя. В одном образе она соединила могущественнейшего из царей и самого бесправного из его бесправных подданных".

Схоже относился к легенде и сам Толстой: "Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козьмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности... Прелестный образ".

ЦАРСКИЕ БРАТЬЯ. ЦАРСКОЕ НОВОЕ ПЛАТЬЕ.
ЦАРЬ И РУБАШКА. РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ
БАРАБАН

Сказка "Царские братья" вошла в "Третью русскую книгу для чтения"; сказки "Царское новое платье" и "Царь и рубашка" — в "Четвертую русскую книгу для чтения". Обе книги многократно переиздавались при жизни автора.

Сказка "Работник Емельян и пустой барабан" написана в мае 1886 г. после встречи со старым солдатом (см. примечание к памфлету "Николай Палкин"). Первые публикации сказки были осуществлены за границей: в Женеве (1891 г.) и в Лондоне (1899 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

От издателей	5
Письмо Александру II. <i>22 августа 1862 г.</i>	7
Письмо Александру III. <i>8–15 марта 1881 г.</i>	10
Письмо Александру III. <i>Январь 1894 г.</i>	25
Николай Палкин. <i>Статья.</i>	34
Сон молодого царя. <i>Рассказ.</i>	49
Бессмысленные мечтания. <i>Статья.</i>	69
Письмо Николаю II. <i>10 мая 1897 г.</i>	87
Письмо Николаю II. <i>19 сентября 1897 г.</i>	93
Письмо Николаю II. <i>7 декабря 1900 г.</i>	96
Письмо Николаю II. <i>16 января 1902 г.</i>	101
Царю и его помощникам. <i>15 марта 1901 г.</i>	114
Царю и его помощникам. <i>Октябрь 1905 г.</i>	124
Посмертные записки старца Федора Кузмича. <i>Повесть.</i>	132
С к а з к и	164
Царские братья.	164
Царское новое платье.	165
Царь и рубашка.	167
Работник Емельян и пустой барабан	167
П р и м е ч а н и я	181

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУССКИЕ ЦАРИ.
СБОРНИК. Письма царям. Публицистика.
Повесть. Рассказ. Сказки. Составитель Н. Попова. Редактор и автор примечаний И. Попов.
"КСТАТИ". М., 1995. — 192с.

Публикуемые в этой книге письма-обращения Толстого к царям, его публицистические выступления и художественные произведения рождены болью и тревогой писателя за судьбу страны, стремлением воздействовать на правителей России, преградить дорогу злу и защитить всех притесняемых. Эти произведения русского гения глубоко созвучны нашим сегодняшним духовным поискам и тревогам и способны взволновать самого широкого читателя.

Лицензия № 063212 от 24.12.1993
"Кстати", 113519, Москва, а/я I-A

Сдано в набор 04.01.95. Подписано в печать 03.02.95.
Размер 70x100¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарнитура "Сенчури". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7.8. Усл. кр. отг. 7.8. Уч.-изд. л. 6.3.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 89.

Фотонабор ТОО "Внешсигма",
129278, Москва, Рижский пр., д.7.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате
Комитета Российской Федерации по печати.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

"Так жить нельзя..."

**"Самодержавие есть форма
правления отжившая..."**

**"Виноваты не злые, беспокойные
люди, а вы сами, правители., не
хотящие видеть ничего, кроме
своего спокойствия в настоящую
минуту."**

**"Мерами насилия можно
угнетать народ, но нельзя
управлять им."**

**"Нельзя делать добро человеку,
которому мы завяжем рот,
чтобы не слышать, чего он
желает для своего блага."**

Александр Толстой